

Габриэль
Сеура



Мы прокляты

18+

Габриэль Сегула

Мы прокляты

«Автор»

2026

Сегула Г.

Мы прокляты / Г. Сегула — «Автор», 2026

«Летучий Голландец» Один проклятый корабль – десятки разных легенд, которые объединяют лишь три вещи: жестокий капитан Хендрик ван дер Деккен, проклятие павшее на всю команду корабля и мыс Доброй Надежды. Но так ли это на самом деле? Португалия. Назаре. Двенадцатилетний Мигель, отправившись с отцом и его командой на рыбацком судне, попадает в шторм и встречает «Летучего Голландца». Спустя пятьдесят восемь лет Мигель получает в свои руки уникальный предмет – дневник самого капитана проклятого корабля – Хендрика ван дер Деккена. Где он находит странную карту с тремя кольцами, отмечающими Назареский каньон и запись с упоминанием Врат. Но есть одна странность: дневник написан двумя разными людьми или же это все-таки один человек, но в корне изменивший свой почерк? Почему в дневнике встречаются инициалы «Б.Ф.»? Неужели Хендрик ван дер Деккен никогда не был капитаном? Мигелю предстоит узнать правду не только о капитане, но и о самом проклятье. Ведь иначе ему не узнать правду о смерти отца.

© Сегула Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Пролог. Последний шторм | 5 |
| Глава 1. Пыль и тень Лиссабона | 8 |
| Глава 2. География проклятия | 12 |
| Глава 3. Чернильные глубины | 16 |
| Глава 4. Стена страха | 19 |
| Глава 5. На краю | 25 |
| Глава 6. Испытание туманом | 29 |
| Глава 7. Тени в тумане | 33 |
| Глава 8. Якорь в прошлом | 37 |
| Глава 9. Эхо в штиле | 41 |
| Глава 10. Тихие гости | 45 |
| Глава 11. Чернила и сердце | 50 |
| Глава 12. Скрещение путей | 53 |
| Глава 13. Хронометраж проклятия | 59 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 60 |

Габриэль Сегула

Мы прокляты

Пролог. Последний шторм

Португалия

Город Назаре

Лето 1968 г.

Первый луч утреннего солнца был нежным и обманчивым. Атлантический океан у побережья Назаре дышал ровно и спокойно, его воды напоминали расплавленное серебро, по которому мягко скользили солнечные зайчики. Воздух был свеж и прозрачен, привычно пахло солью, водорослями и далекими странствиями. Для двенадцатилетнего Мигеля этот запах был запахом дома. Стоя на палубе рыбацкого судна «Мария до Мар»¹, названного в честь его матери, он чувствовал, как его сердце наполняется гордостью. Он был не просто мальчишкой: он был частью команды. Его отец, капитан Руй, настоящий исполин, чьи руки, покрытые сетью морщин и шрамов, умели читать море, как открытую книгу.

Мигель с наслаждением выполнял свои небольшие обязанности: разносил затупленные от времени инструменты, помогал сортировать рыбу, брезгливо морщась от ее скользкой чешуи. Каждый одобрительный кивок отца, каждая шутка бывалого матроса были для него дороже любой ценной монеты. Он ловил каждое слово, каждый взгляд, стараясь запомнить этот день, этот идеальный момент, когда он, его отец и море были единым целым.

Но к полудню небо стало меняться с обманчивой скоростью. Сначала это была лишь легкая дымка на горизонте, будто дыхание исполинского ледяного зверя. Затем солнце внезапно померкло, затянутое вязкой пеленой высоких облаков. Ветер, прежде ласковый, резко сменил характер, став порывистым и колючим, свистя в вантах² и срывая с губ соленые брызги. Море из нежно-серебристого стало темно-свинцовым. Вода закипела мутной пеной, и в ее глубинах, казалось, пробуждалась древняя, не знающая пощады сила.

– Шквал приближается. Быстро, убираем сети! – Голос капитана Руя, обычно спокойный и уверенный, был подобен удару гонга, рассекающему нарастающую тревогу.

Команда тут же засуетилась, движения их стали резкими и отточенными стремительно приближающейся опасностью. Но океан опережал их. Он играл с судном, как кошка с мышкой. Волны, еще недавно ласково подкатывавшие под киль, теперь с оглушительным грохотом били в борта, заливая палубу ледяной водой. Небо почернело, превратившись в низко нависший потолок из клубящегося праха и ярости.

– Мигель, в каюту! Немедленно! – приказал отец. Его глаза, обычно теплые и смеющиеся, были суровы и смотрели куда-то вдаль, навстречу грядущей судьбе.

– Позволь мне остаться! Я могу помочь! – взмолился Мигель, вцепившись в поручень, но его тонкий голос был поглощен воем стихии.

– Нет! – это прозвучало как щелчок бича. – Это не место для мальчика. Иди!

¹ «Мария до Мар» (с португ. *Maria do Mar*) – «Мария Моря».

² Ванты – это тросы или цепи, служащие для укрепления мачт судна в поперечном направлении.

Сердце Мигеля сжалось от обиды и страха. Он поплелся вниз, но дверь в каюту оставил приоткрытой. Маленькая щель в ад, который пугающе быстро разворачивался на его глазах. И тогда он увидел ЭТО.

Сквозь стену дождя и брызг, против безумного ветра, плыл призрак. Корабль-видение. Его корпус был темным, как пропитанное водой дерево гроба, мачты голыми, а паруса висели ключьями, словно саван на давно разлагающемся теле. От него веяло не просто старостью, а вневременным забвением. Он скользил бесшумно, не обращая внимания на шторм, плывя по законам, неведомым живым.

– Летучий Голландец³! – вопль старого матроса был полон такого ужаса, что кровь буквально стыла в жилах. – Нас прокляли! Мы все умрем!

По палубе прокатилась волна суеверного ужаса. Даже самые крепкие и бывалые морские волки бледнели и крестились дрожащими пальцами, шепча заученные с детства молитвы. Легенда о корабле-призраке, обреченном вечно бороздить моря и нести гибель всем, кто его увидит, вдруг ожила перед ними в этот кромешный час.

– Отец! Что это?! – закричал Мигель, и его голос сорвался в писк.

Капитан Руй обернулся. На его лице Мигель увидел не просто страх, а нечто намного худшее – признание неминуемой гибели.

– Мрачная тень, сынок. Старая морская сказка... – голос отца был хриплым. – Но сегодня эта сказка пришла за нами.

Шторм достиг своего апогея. «Мария до Мар» стонала, как живое существо, ее деревянный остов трещал под натиском водяных глыб. Каждая волна была ударом гигантского молота, от которого содрогалась вся туша судна. Капитан Руй спустился в каюту. Его пальцы, холодные и грубые, торопливо застегивали на Мигеле спасательный жилет.

– Слушай меня, – отец схватил его за плечи, и его взгляд жег, подобно раскаленному железу. – Что бы ты ни услышал, что бы ни увидел – не выходи. Держись за что-нибудь крепкое. Ты обещаешь мне?

Мигель мог только кивать, слезы смешивались с соленой водой на его лице. Руй прижал его к себе всего на мгновение: короткое, вечное мгновение, в котором было прощание, любовь и вся невысказанная боль отца. Затем он снова ринулся на палубу, в самое пекло.

Мигель прильнул к иллюминатору. Он видел, как мужчины, его герои, внезапно стали просто испуганными людьми. Они больше не пытались бороться. Они просто отчаянно цеплялись за жизнь. Их молитвы были не просьбами о спасении, а предсмертным стоном, подхваченным ветром и унесенным в небытие.

И тогда пришла та самая волна. Она была не просто большой, она была монументальной, темной стеной, закрывшей полнеба. Судно взметнулось на гребень, замерло на секунду в неестественном положении, а затем рухнуло в бездну. Раздался оглушительный треск. Последний смертельный крик «Марии до Мар».

Дверь каюты вырвало с петлями, и Мигеля, словно щепку, резко вышвырнуло на палубу. Холод тут же охватил его, проникая в кости. Вода оглушительно ревела, безумно кружила, нещадно заливая рот и нос. В последнем проблеске своего сознания, в хаосе обломков и пены, он успел увидеть отца. Капитан Руй, могучий капитан Руй, отчаянно борясь с волнами, плыл к нему, его рука была вытянута, пальцы почти касались пальцев сына. Их взгляды на мгновение встретились: в глазах отца была вся ярость взбесившегося океана и вся бесконечная тоска последнего прощания.

Их разделила новая волна, стена воды, которая стала вечностью. Последнее, что Мигель помнил, – обломок судна, проплывавший мимо.

³ «Летучий Голландец» – легендарный корабль-призрак, который, по поверьям моряков, обречен вечно бороздить моря и часто предвещает гибель.

Сознание вернулось к Мигелю с тупой болью во всем теле. Он лежал на песке, и каждый вдох давался с колоссальным трудом. Солнце, яркое и безразличное, нещадно слепило его. Он кашлял соленой водой, его тело было истощено до предела. Он медленно поднял голову.

Берег был усыпан щепками, обрывками сетей, личными вещами, которые еще вчера были частью его жизни. Он увидел деревянную табличку с полустертым именем «Мария до Мар».

Он остался один.

Мигель встал на колени, потом на ноги, шатаясь, будто пьяный. Его крик не был громким, у него не хватало на это сил.

– Папа?!

Тишина. Лишь монотонный, вечный шум прибоя, который уже поглотил все крики, все молитвы и все надежды. Он обернулся и посмотрел на океан. Тот был спокоен и безмятежен, как и вчера утром. Ласковый и равнодушный убийца.

Мигель упал на колени. Он не плакал. Слезы приходят, когда есть надежда на утешение. Теперь же ее не было. Была только пустота, простиравшаяся до горизонта, и тишина, в которой навсегда осталось эхо его последнего крика. Его детство резко кончилось. Оно утонуло вместе с «Марией до Мар» и смотревшим на него в тот последний миг взглядом отца.

Глава 1. Пыль и тень Лиссабона

Португалия

Город Назаре

Весна 2026 г.

Пятьдесят восемь лет жизни, прошедшие с того дня, не просто прокатились над Мигелем: они буквально вгрызлись в него, вытаскивая изнутри. Его сгорбленная фигура казалась вытесанной соленым ветром из старой коряги, выброшенной океаном на побережье. Ладони, лежавшие на столе, были испещрены не только морщинами, но и припухшими, узловатыми суставами. Сказывался старый артрит, нажитый в сырости причалов. Именно он заставлял пальцы подрагивать, даже когда они просто хотели прикоснуться к пожелтевшим страницам. А еще на погоду жутко ныло плечо: давнишняя травма, память о падении с лестницы в пыльном архиве из-за сломанной ступеньки, которую он вовремя не заметил. И сейчас, поднимаясь из кресла, он инстинктивно оперся на край стола – толстая книга с атласом течений с грохотом рухнула на пол, поднимая облако пыли. Мигель даже не вздрогнул, будто это был привычный аккомпанемент почти всех его движений.

Его день обычно начинался с одного и того же ритуала. Едва занявшийся рассвет выбеливал стекло, и он, еще не одетый, медленно подходил к окну. На мгновение, глядя на бесконечную холодную равнину океана, он переставал быть стариком. Морщины вокруг глаз смягчались, взгляд терял фокус, устремляясь в какую-то невидимую точку на горизонте. На его лице проступало то самое выражение, которое бывало, когда он был еще двенадцатилетним мальчишкой: замороженным бескрайней ширью водной глади и тайнами, сокрытыми в глубинах океана. Затем он возвращался к столу, брал ручку и дрожащей, но упрямой рукой выводил в толстом дневнике: *«Сегодня опять итиль. Ветер западный. Все еще продолжаю ожидать»*. Его почерк был угловатым, нервным, буквы словно спешили и спотыкались друг о друга, что говорило о нетерпении, которое жгло его изнутри все эти годы.

Его известковый домик был не просто хранилищем, а самым настоящим святилищем одержимости. Воздух внутри представлял собой очень густой и жутко спертый коктейль из слоев вековой пыли, выцветших от времени чернил и соли, глубоко въевшейся в стены. Среди груд бумаг особенно выделялись несколько ключевых артефактов. На самой старой, истертой на сгибах карте Атлантики, в области, известной как «Море Теней», зияла маленькая дыра. Бумага вокруг нее была истоптана до волокон от бесчисленных прикосновений, а десятки карандашных линий предполагаемых маршрутов сходились в этой точке, будто в воронку. Рядом, на наспех сколоченной полке, лежала пачка вырезок. Один из пожелтевших заголовков кричал: **««Санта-Лючия» пропала без вести в ясную погоду: вся команда сошла с ума?»**. Под ним располагалась более поздняя заметка: *«Рыбаки клянутся, что видели корабль-призрак невдалеке от места исчезновения»*.

Но истинным центром этого алтаря был вовсе не бумажный хаос, а предмет. На отдельном бархатном лоскутке, под стеклом, лежал небольшой обломок почерневшего, отполированного временем и водой дерева с вросшим в него обломком медной заклепки. Это была его самая ценная находка, сделанная двадцать лет назад на пустынном берегу после сильнейшего шторма. Он искренне верил, что это щепка шпангоута⁴ «Летучего Голландца». А рядом

⁴ **Шпангоут** (от нидерл. *spanthout*, где *spant* – «ребро», *hout* – «дерево») – поперечный элемент жесткости корпуса судна, обеспечивающий форму и прочность конструкции.

в маленькой серебряной шкатулке лежал засохший, почти рассыпавшийся в прах цветок – темно-синий выюнок. Его он нашел в тот же день, рядом с обломком. Цветок, который никак не мог расти на том бесплодном берегу. Для Мигеля это определенно был знак: прощальный привет с того света, последний подарок от призрака, в доказательство существования которого он вложил большую часть своей жизни.

Вчерашний день стал особенным за последнее время, принесся ему письмо. Но не электронное – Мигель презирал эти бездушные цифры и коды, – а самое настоящее, на плотной бумаге, с печатью Лиссабонского университета, где он когда-то, давным-давно, числился почетным историком. Письмо было сухим и официальным: *«Уважаемый сеньор Коста, на ваше имя поступила бандероль из Гоа⁵, Индия. Требуется личного получения ввиду важности содержимого»*.

Сердце, привыкшее за долгие годы биться в ритме тихого прибоя, вдруг сорвалось в бешеную пляску. Он точно знал. Это было Оно. Дневник капитана Хендрика ван дер Деккена⁶. Та самая реликвия, на поиски которой он потратил двадцать лет своей жизни, рассылая запросы по бывшим колониям, торгуясь с антикварами и маниакально перелопачивая пыльные архивы. Забытый в порту Гоа и пролежавший в сундуке какого-то португальского чиновника долгие полтора века, он наконец-то добрался до него.

В это утро Мигель проснулся раньше обычного, еще до рассвета. Это была не медлительная, костная старость, с которой он обычно вставал, и даже не привычный ритуал, а самая что ни на есть мальчишеская, пружинистая энергия, которую он не чувствовал с того утра, пятьдесят восемь лет назад, когда вышел на палубу «Марии до Мар». Пальцы, обычно непослушные и дрожащие, ловко и быстро укладывали в тронутый временем, потрепанный кожаный саквояж самое необходимое: лупу с серебряной оправой, блокнот для заметок, несколько чистых пергаментных листов для возможных копий и старую, исчерченную карандашными пометками карту Атлантики. Каждое движение было отточенным ритуалом, словно он готовил не вещи, а священные артефакты для главной экспедиции своей жизни.

Дорога в Лиссабон на стареньком местном автобусе была долгой и тряской, но Мигель совсем не замечал ни ухабов, ни усталости соседей. Он неотрывно смотрел в окно, но видел не пробегающие мимо пейзажи, а образы, порожденные его многолетней одержимостью. Он представлял, каков на ощупь тот дневник. Пахнет ли он еще морем и порохом? Сохранились ли на его страницах капли соленой воды и брызги того рокового шторма? Что написал капитан перед тем, как отправиться в свое последнее плавание? Он ловил себя на том, что его губы шепчут старые морские молитвы, но не о спасении, а о том, чтобы посылка оказалась подлинной.

Лиссабон встретил его оглушительным грохотом трамваев на подъеме к Шиаду⁷ и суетой прохожих. Чужим и стремительным миром, в котором ему определенно не было места. Этот город был уже не его Лиссабоном: тихой и спокойной гаванью для ученых и мореплавателей. Теперь он превратился в ярмарочную площадь для шумных туристов, чьи фотоаппараты щелкали, будто стаи кричащих чаек.

Он пробирался сквозь этот бесконечный поток, словно опытный моряк сквозь подводные рифы, не замечая ничего вокруг. Его сознание, еще час назад погруженное в тихий шепот чернил и скрип пергамента XVII века, с трудом пробивалось сквозь кричащие неоновые вывески и рев мопедов. Здесь пахло не соленым бризом и старыми книгами, а жареными каштанами и выхлопными газами. Он чувствовал себя призраком, затерявшимся в чужом времени. Его дух

⁵ Гоа – бывшая португальская колония в Индии до 1961 г.

⁶ Хендрик Ван дер Деккен (Hendrick Van der Decken) – легендарный капитан «Летучего Голландца», корабля-призрака, обреченного вечно бороться с морем.

⁷ Шиаду – сердце культурной и коммерческой жизни Лиссабона, сочетающее многовековую историю, архитектуру разных эпох и современную городскую среду.

все еще продолжал парить над безмолвными просторами Атлантики, пока тело откликалось на грубые толчки в душном автобусе.

Сердце, привыкшее за долгие годы к спокойному, ученому ритму, теперь колотилось где-то в горле, неровно и громко, отбивая дробь тревоги и предвкушения. И когда наконец показались знакомые стены университетского корпуса, его широкая лестница показалась ему не просто ступенями, а трапом, ведущим на борт того самого корабля, что ждал его все эти годы.

– А, профессор Коста! – встретила его улыбкой молодая библиотекарь, для которой он был скорее милой и чудачковатой реликвией, чем бывшим коллегой. Она с некоторым усилием протянула ему плотную деревянную коробку, углы которой были беспощадно потерты в пути. – Вам какая-то экзотическая посылка. Из Индии, кажется. И пахнет... ой, не знаю даже... чем-то древним? – она весело подмигнула, ожидая ответной улыбки.

Но Мигель не слышал шуток. Его взгляд прилип к коробке, словно к спасательному кругу. Воздух вокруг него мгновенно сгустился, отгородив его от гулкого коридора за дверью и шепчущегося читального зала с его запахом свежей бумаги и кофе. Он не протянул руки, и девушке пришлось поставить коробку на стойку.

– Древним? – его голос прозвучал хрипло, как скрип очень старого дерева. Он медленно, почти с благоговением, провел ладонью по грубой шершавой поверхности. – Это пахнет временем. Солью. И... туманом.

Библиотекарь смущенно нахмурилась, ее улыбка растаяла. Легкомысленный тон был мгновенно сметен этой гнетущей серьезностью.

– Э... да, наверное, – пробормотала она, отступая на шаг под тяжестью его одержимого взгляда. – Вам помочь донести?

Но Мигель уже не слушал. Он прижал коробку к груди, как мать прижимает дитя, поспешно развернулся и зашагал прочь, оставив девушку в недоумении, с внезапно повисшей в воздухе неловкостью.

Он неосознанно водил рукой по коробке, будто гладил котенка. Темная, почти черная, она пахла не просто стариной, а чем-то чужим: тропической плесенью, сандаловым деревом и удушающим запахом тления. Ее вес был обманчиво мал, будто внутри хранилась не бумага, а призрак.

Его пальцы, искривленные артритом, дрожали, но уже не от старости и болезни, а от благоговейного ужаса. С треском, который в гробовой тишине комнаты прозвучал как выстрел, он осторожно отодвинул деревянную защелку. Шершавая поверхность ящика оставила занозу на его большом пальце, но он не почувствовал боли, только холодное прикосновение металла, надежно хранившего тайну. Дыхание Мигеля замедлилось, будто он и вовсе не дышал. Он провел ладонью по крышке, смахнув слой вековой пыли, пахнувшей дальними странами и чужими руками. В этот миг ему показалось, что от ящика веет не тропическим тлением, а ледяным дыханием океанских глубин.

Внутри, покоясь на мягкой, грубой холстине, словно на погребальных дрогах, лежал **Он**. Кожаный переплет был стерт по краям почти до самой мякоти, словно его бесчисленное множество раз вырывали из чьих-то дрожащих рук. А на середине, будто вечное клеймо, был вытиснен символ: корабль, похожий на «Летучего Голландца», несущийся на всех парусах, но не к спасению, а прямо в самое сердце грозной бури. Мигель замер, боясь прикоснуться. Это был не просто предмет. Это была плоть от плоти легенды, сама суть проклятия, и сейчас, после столетий забвения, он смотрел на нее, боясь дышать.

Мигель не стал ждать возвращения домой. Присев на теплый каменный парапет в университетском дворе, залитом полуденным португальским солнцем, он с ощущением, будто вскрывает чужую душу, осторожно открыл первую страницу. Чернила, что когда-то были черными, теперь побурели, как давно запекшаяся кровь. Почерк был невероятно аккуратным,

выверенным, почти каллиграфическим. Явно чувствовалась рука человека, для которого порядок был основой мироздания. Это была не рука обычного моряка, а человека образованного. Возможно, самого капитана. А может, и ученого. Он скользнул взглядом по строчкам: «*Ветрено. Курс норд-ост⁸. Запасы пресной воды пополнены. Команда в порядке*». Сухие, деловые пометки. «Надо же, какой педант», – мелькнула у него мысль, и на мгновение он почувствовал странную близость к этому незнакомцу.

Затем, затаив дыхание, он наугад открыл дневник где-то в середине. И мир перевернулся.

Здесь почерк был уже другим: резким, угловатым, рваным. Буквы наезжали друг на друга, кляксы чернил были похожи на следы отчаяния, а нервные росчерки протыкали бумагу, будто автор пытался заколоть саму судьбу. Его сердце екнуло. Он видел не просто книгу, он видел двух абсолютно разных людей. Или одного человека, проделавшего путь от идеального порядка к безумному хаосу. Он прочел, впитывая каждую букву:

«7 октября 1641 года.

Через несколько дней мы покидаем берега Индии...

Прицепился какой-то старик...

Нужно лишь немного отклониться на обратном пути...»

Солнце внезапно показалось Мигелю чьей-то насмешкой. Он сидел в тепле лиссабонского дня, а от страниц на него веяло ледяным дыханием безумия и вечного шторма. Его сердце, этот изношенный мотор, работавший на пепле прошлого, забилося с новой бешеной силой. Это был не просто сборник легенд. Это был голос из самой бездны. И он говорил с ним.

Мигель аккуратно захлопнул дневник. Руки его больше не дрожали – теперь они обрели стальную твердость. Но внутри него что-то щелкнуло, как щелкает затвор у старинного пистолета, готового к выстрелу. Это был не просто щелчок. Это был звук смыкания судьбы. Словно последний винтик в сложном механизме его жизни встал на свое место, и теперь все: его знания, его одержимость, его одиночество – внезапно обрели единственную и страшную цель. Он больше не был старым чудачком, преследующим мираж. Теперь он стал наследником. Хранителем проклятой тайны, которую должен либо разгадать, либо унести с собой в могилу.

Он аккуратно, с благоговением, завернул дневник в мягкую ткань и осторожно уложил в свой потертый саквояж, будто укладывал величайшую в мире драгоценность.

Долгое путешествие домой предстояло провести в глубоких размышлениях, но теперь это были не просто мечты, а самая настоящая стратегия. Его ум, отточенный годами академической работы, уже начинал выстраивать план атаки. Он будет не просто читать дневник. Первым делом необходимо будет создать хронологию. Сопоставить даты из дневника с метеорологическими сводками и записями о кораблекрушениях в судовых журналах того времени, до которых еще можно дотянуться в бумажных архивах. Нужно будет найти упоминания о «*старике в Индии*» – возможно, это был известный в те годы пророк или шарлатан. Каждая строчка дневника станет уликой, а каждая пометка на его стене будет элементом оперативной карты.

Он не просто держал в руках дневник. Он держал вызов, брошенный ему сквозь столетия. И теперь он, седой, сгорбленный старик, с артритом в пальцах и огнем в душе, собирался его принять.

Его приключение только начиналось. И первым его шагом будет дорога домой, в свою пыльную крепость, где наконец-то можно будет начать настоящую охоту на призрака. Но сейчас он знал, что охотится не за мифом. Он охотится за человеком. За капитаном, чья душа раскололась надвое прямо на этих страницах, и Мигелю предстояло собрать ее обратно, чтобы найти ключ к спасению... или к окончательной гибели. Но вот чьей – еще предстояло выяснить.

⁸ **Норд-ост** – направление на северо-восток.

Глава 2. География проклятия

Дом встретил Мигеля гробовой тишиной, нарушаемой лишь мерным тиканьем старинных навигационных часов на камине. Но для него тишины не было. Воздух звенел от эха только что прочитанного: отзвуков шагов по палубе призрачного судна, скрипа его такелажа.

Он не разделся, не зажег свет и даже не подумал о еде. Будто лунатик, он прошел в свой кабинет, бережно неся на вытянутых руках дневник, как священную реликвию. Только опустившись в потертое кожаное кресло, под свет настольной зеленой лампы, что отбрасывала на стол круг дрожащего света, он позволил себе наконец вздохнуть полной грудью.

Его пальцы, покрытые старческими пятнами, с нежностью, достойной нежного любовника, провели по обложке. Открыв его в тишине и спокойствии кабинета, Мигель мог проследить изменение почерка капитана «Летучего Голландца». Первые страницы дневника не были заполнены с самого начала, поэтому он их просто пролистал. Сперва шли сухие корабельные записи: учет провизии, списки товаров, скучные заметки о погоде. Записи аккуратные, будто написаны аристократом. Но вот он добрался до той самой записи. Резкие и рваные предложения, казалось, принадлежали уже совсем другому человеку, а не Хендрику ван дер Деккену.

«7 октября 1641 года.

Через несколько дней мы покидаем берега Индии.

Решил сегодня пройтись по базару.

Прицепился какой-то старик...

Думал послать его к Морскому Дьяволу.

Безумец вцепился в мою руку.

Нес какой-то бред. Что-то о сокровищах, Вратах в иные миры...

Потом... туман...

Вроде что-то то ли писал, то ли рисовал...

Нужно лишь немного отклониться на обратном пути...

Найти то место...

Как он его назвал?! Не помню...»

Страница была покрыта не просто пятнами от чернил, а настоящими шрамами отчаяния. Она была чуть смята, будто ее хотели вырвать и сжечь, но в последний момент рука не поднялась предать огню собственную исповедь. Мигель провел пальцами по шершавой поверхности и разглядел на полях, рядом с текстом, отпечатки пальцев, вдавленные в бумагу с такой силой, словно автор пытался вцепиться в самую реальность, чтобы ее не унесло безумием. Они были похожи на пятна ржавчины. Или крови. Чернила в некоторых местах размазаны, будто по странице стекали слезы, смешанные с морской солью. Он понял. Это была не просто запись – это был последний крик, застывший на бумаге.

Мигель устало откинулся на спинку кресла, закрыв глаза. Он представлял этого капитана как человека науки и разума, чей аккуратный почерк украшал первые страницы. Но эта запись определенно была сделана безумцем. В его сознании, как в кинематографе, ожила сцена: душный, пропитанный запахами карри и гниющих фруктов базар в Гоа. Гам толпы, крики разносчиков. И он, капитан в безупречном мундире, от скуки или из вежливости решает пройтись среди этой экзотики. «*Решил пройтись...*» – фраза, полная обыденности, за которой последовала бездна.

«Потом... туман...»

Мигель мысленно остановился на слове «*туман...*». Это точно не был метеорологический термин. А значит, это был туман в сознании. Гипноз? Слишком примитивно и недолго-

вечно. Наркотики в табаке или питье? Но он сразу же отбросил эту версию. Эффект был слишком долгим, слишком глубоким. Он не ослабевал, а лишь нарастал, как прилив. Нет, это было похоже на что-то другое. На заражение. Идеей. Вирусом безумия, который старик впрыснул в его разум одной-единственной фразой, одним шепотом, переломившим ход его рационального мира. «Что же ты такого сказал ему, старик? – мысленно вопрошал Мигель, вглядываясь в потолок, по которому плясали тени от свечи. – Ты показал ему его будущее? Или... его вечность?»

Внезапно, с лихорадочной энергией, которой он не чувствовал уже несколько десятилетий, Мигель вскочил с кресла. Он не просто метался по комнате: его движения были целеустремленными, как у хищника, учувшего след добычи. Он принялся раскапывать свои архивы, сметая слои пыли и бумаг, но не в слепой ярости, а следуя внутренней, давно продуманной картотеке. Его взгляд выхватывал из хаоса знакомые закладки, бирки, цветовые коды, которые были понятны лишь ему. Он искал не все подряд, а конкретную папку, заведенную много лет назад, на плотной картонной обложке которой его когда-то уверенной рукой было выведено: «*Аномалии: Геометрические несоответствия в картографии XVI–XVII вв.*».

И вот его пальцы, знающие каждую выпуклость и провал на корешках, наткнулись на искомое: толстый фолиант в потертом синем переплете. Он с усилием вытащил его из плотного ряда других папок, и в тишине комнаты взметнулось облако пыли, пахнущее океанской сыростью, старым клеем и давно забытыми открытиями. Этот запах был для него настоящим эликсиром молодости. Стол моментально превратился в хаотический, но гениальный в своем безумии коллаж из прошлого и настоящего: развернутый дневник лежал в центре, а вокруг него, как спутники вокруг проклятой планеты, легли схемы океанских течений, геологические отчеты о тектонических разломах и глубинные карты Атлантики, испещренные его собственными пометками. Он нашел недостающий фрагмент мозаики. Оставалось только собрать их воедино.

И теперь, когда он наконец перелистнул страницу, то замер, будто неожиданно наткнулся на край пропасти.

Дыхание перехватило. Перед ним лежал разворот, целиком занятый картой. Но это была не та карта, что обычно бывает у моряков, а нечто иное, похожее на кошмар, рожденный в воспаленном сознании. Она была начертана с топографической точностью, но ее геометрия была беспощадно и чудовищно искажена, будто рисовали на поверхности лопнувшего пузыря. Береговые линии изгибались в неестественных, ломаных углах, меридианы сходились не к полюсам, а к одной единственной точке в открытом океане, нарушая все законы и Евклида⁹, и здравого смысла. Это не была карта в стиле портуланов¹⁰ с их паутиной румбов¹¹, но и на мифическую карту с чудовищами на краях света тоже не походила. Это больше было похоже на... схему. Схему некоего чудовищного механизма, чьими шестеренками служили сами океанские течения и тектонические плиты.

И в этом жутком эпицентре бушевал гигантский водоворот, воронка, занявшая почти пол-океана. И чем дальше Мигель смотрел на нее, тем сильнее у него кружилась голова и слабее становился свет лампы. Ему начинало казаться, что линии на карте не просто нарисованы, а медленно, почти незаметно движутся, затягивая взгляд в тот самый пульсирующий

⁹ **Постулаты Евклида** – это пять базовых утверждений из труда «Начала» (III век до н. э.), принимаемых без доказательства. Они служат фундаментом евклидовой геометрии – системы, описывающей свойства точек, прямых, плоскостей и фигур на плоскости и в пространстве.

¹⁰ **Портуланы** (или портоланы; от итал. *portolano*, от лат. *portus* – «гавань») – морские навигационные карты, широко использовавшиеся в XII–XVI веках.

¹¹ **Румб** – это удобный инструмент для указания направлений относительно сторон света. Он обеспечивает достаточную точность в навигации и смежных науках, а его система позволяет однозначно понимать курс или азимут без сложных вычислений.

центр. Центр, что был помечен знаком, от которого буквально стыла кровь: три переплетенных кольца, напоминавшие то ли морские узлы, то ли змей, пожирающих друг друга. Они казались то спящими, то пульсирующими с мертвенным, неспешным ритмом, будто сердце самого океана. От этого символа, словно трещины от удара по стеклу, расходились линии маршрутов, пути обреченных кораблей. И одна из них, тонкая, как паутина, вела от воронки напрямик к побережью Португалии. К городку Назаре.

А именно к той самой точке, где погибли его отец и команда корабля «Мария до Мар». Там, где его жизнь в один миг разбилась на «до» и «после».

Мысль Мигеля, отточенная годами исследований, сработала со скоростью молнии, пронзившей тихую ночь. Назарский каньон¹². Гигантская подводная пропасть, что глубже Гранд-Каньона, начинающаяся буквально в сотне метров от берега. Аномалия, порождающая волны-убийцы, чудовищные валы, которые ученые так и не смогли объяснить до конца. Место, где континентальный шельф резко обрывается в бездну.

Ледяная волна медленно прокатилась по его спине, и каждый волосок на руках встал дыбом. Это не было просто совпадением. Ведь совпадения не бывают такими идеальными, такими... зловещими. Это определено была логика проклятия. Его личная трагедия, гибель отца на «Марии до Мар», его собственная жизнь, искалеченная горем и навязчивой идеей: все это было не случайным стечением обстоятельств, а лишь... частью маршрута. Частью чудовищного чертежа, начертанного дрожащей рукой четыреста лет назад. Капитан-призрак на своей искаженной карте указал не на какой-то мифический водоворот, а на вполне реально существующую геологическую аномалию. Врата в мир мифа располагались именно там, где сама природа с безумной точностью создала идеальные, почти спроектированные безумцем двери. Но вот куда – еще только предстояло узнать.

Ученые десятилетиями ломали голову над Назарским каньоном. Эта подводная пропасть работала как гигантская линза, фокусирующая рассеянную энергию океанских волн и выбрасывающая наружу чудовищные, тридцатиметровые валы. И теперь Мигель смотрел на карту призрака и понимал: линза была не обычным природным феноменом. Она была шлюзом. А может быть, даже замком, скрывающим нечто зловещее в своей пятикилометровой толще. И кто-то, сознательно или нет, попытался его открыть. «Летучий Голландец» не просто бороздил океан: он курсировал к конкретной точке, к этому геологическому разлому в самой реальности.

Он медленно отодвинул лупу. Его руки снова дрожали, но не от предвкушения, а от сокрушительной тяжести открытия. Мигель смотрел то на древнюю карту с ее пульсирующим кошмаром, то на современные спутниковые снимки каньона, лежавшие рядом. Они практически совпадали. Не в деталях береговых линий, но в своей чудовищной сути. В сути этого странного, ненормального места, где заканчивалась земная твердь и начиналось нечто, не подчиняющееся никаким картам, кроме той, что была начертана рукой безумца.

Мигель никогда не был сумасшедшим стариком, гоняющимся за сказкой. В тот миг, под грузом этого ошеломляющего откровения, он стал исследователем, стоящим на пороге великого открытия, которое стирало грань между наукой и мифом. И первый шаг в эту бездну был уже сделан. Он нашел не просто дневник. Он нашел карту к месту своей личной трагедии и могиле своего отца. Теперь ему предстояло понять, был ли тот случайной жертвой разбушевавшейся стихии... или целью, намеченной рукой, написавшей эти строки четыреста лет назад.

Он убрал лупу в сторону. Дрожь в его пальцах, вызванная первоначальным шоком, вдруг сменилась странной, стальной решимостью, наполнившей его тело непривычной силой. Вопрос «*был ли его отец случайной жертвой?*» больше уже не имел смысла. Слишком идеальным

¹² Назарский каньон (каньон Назаре) – это подводный каньон, расположенный у побережья португальского городка Назаре, а также ключевой фактор образования гигантских волн.

было это совпадение, слишком зловещей эта логика. Теперь в его мозгу, холодном и ясном, как полярный воздух, звучал только один вопрос: *«Кто или что наметило его отца целью?»*.

И ответ был только в одном месте. Но не в мифах и не в догадках, а в хладнокровных, сухих цифрах официальных отчетов.

Ему нужны были судовые журналы. Не просто любые, а именно тех кораблей, что пропали без вести или потерпели крушение в районе Назарского каньона в тот же период, что и «Мария до Мар». Если эта охота была целенаправленной и осмысленной акцией, то его отец не мог быть единственной жертвой. Должны быть и другие. Предшественники. Последователи. Не важно.

Он должен найти их всех. Вытащить из небытия имена и даты, нанести их на карту поверх этого проклятого символа с тремя кольцами и найти узор. Закономерность, которая вела бы не в прошлое, а в самую сердцевину тайны.

И тогда, и только тогда, он наконец поймет, куда ему двигаться дальше. Завтрашнее утро уже больше не было туманной перспективой. Оно грозило стать первым днем настоящей охоты.

Глава 3. Чернильные глубины

Мигель оторвался от испещренных коричневыми чернилами страниц, и его взгляд тут же утонул в хаосе кабинета. Все эти стопки бумаг, сотни закладок в книгах – все это было не более чем кунсткамерой одержимого, пусть и тщательно собранными, но беспомощными уликами. Им не хватало самого главного – леденящего душу авторитета официального документа. Чтобы легенда стала фактом, требовался доступ к хладнокровному, бесстрастному языку государственных архивов: к судовым журналам, где каллиграфическим почерком фиксировали последние слова тонущих кораблей; к страховым отчетам, сводившим человеческие трагедии к колонкам циничных убытков; к протоколам береговой охраны, где исчезновения описывались сухими, бюрократическими фразами, за которыми скрывалась пугающая бездна.

И для этого во всем Лиссабоне, а может, и во всей Португалии, существовал лишь один человек.

Вашку Алмейда.

Такое же, как и сам Мигель, живое ископаемое в мире современных архивов. Коллега, а в чем-то и давний соперник. Если Мигель был охотником за призраками, одержимым метафизикой моря, то Вашку – патологоанатомом истории. Он видел в ней не поэму о героях и чудовищах, а детективный роман, написанный кровью, соленой водой и чернилами. Его царством были не пыльные кабинеты, а стерильные подвалы Морского музея¹³, где в герметичных контейнерах хранились последние письма, разбившиеся хронометры и спасенные из пучины судовые журналы. Он был человеком-архивом, скептиком до мозга костей, для которого даже «Летучий Голландец» – всего лишь нераскрытое дело о массовом исчезновении. Обратиться к нему значило выставить на суд беспристрастного следователя все свои безумные догадки. Но другого пути не было. Вашку обладал ключами от тех дверей, за которыми могла скрываться либо окончательная разгадка, либо окончательное посрамление.

Кабинет Вашку был таким же лабиринтом, как и дом Мигеля, но здесь царил не хаос одержимости, а строгий, каталогизированный порядок, который сам по себе уже был формой безумия. Стеллажи, подписанные словно могильные плиты, вздымались до потолка; папки, стоящие идеальными рядами, хранили в себе тысячи морских судеб. Здесь не было места догадкам или легендам: только протоколы гибели, акты о пропаже без вести и страховые иски, где человеческие жизни сведены к столбцам цифр. Это был не просто архив, а гигантский морг, где вместо тел на полках лежали посмертные маски исчезнувших кораблей. Воздух стоял густой, со сладковатыми нотками: приятно пахло старинной бумагой, выдержанной временем кожей переплетов и едва уловимым, горьковатым ароматом химикатов, призванных остановить время. Это было не жилище, а мавзоль для фактов.

Вашку Алмейда, сухонький, поджарый старик в безупречном жилете, сидел за массивным дубовым столом, погруженный в изучение какого-то путеводителя для моряков XVIII века, следя за выцветшими линиями берегов зубренным ногтем указательного пальца. Он поднял голову, и в его глазах, острых, как иглы дикобраза, мелькнуло не столько удивление, сколько любопытство коллекционера, увидевшего редкий экземпляр. За этим взглядом Мигель сразу разглядел ту же старую, отточенную за десятилетия усмешку, с которой Вашку всегда встречал его «набеги» на свой архив. Мигель в его музее был именно таким экземпляром, а точнее – живым артефактом незакрытой трагедии.

– Мигель? – его голос был тихим, но идеально четким, без единой лишней вибрации. – Каким ветром? Или, как в нашем случае, каким течением?

¹³ Морской музей (*Museu de Marinha* в Лиссабоне) – один из лучших морских музеев мира.

– «Мария до Мар», Вашку, – без предисловий начал Мигель, и его собственный голос вдруг показался ему чужим, даже немного простуженным после долгого молчания в стенах старого дома.

Вашку медленно снял очки в золотой оправе и принялся тщательно протирать их шелковым платком.

– «Мария до Мар»? – он повторил название с легкой, почти врачебной грустью. – Друг мой, я думал, ты давно перевернул эту страницу. Или, по крайней мере, поместил ее в архив памяти под грифом «**трагическая случайность**».

– Я не архивирую свое прошлое, Вашку. И не ищу его, – Мигель шагнул к столу, и его тень упала на безупречную столешницу. – Я ищу особый узор. И я нашел к нему нить.

Он развернул перед архивариусом лист: увеличенную, идеально прорисованную копию той самой кошмарной карты с тремя переплетенными кольцами. В свете лампы символ казался еще зловеще.

Вашку сразу же перестал протирать очки. Его взгляд, теперь без призмы стекол, упал на карту. Но не на всю, а именно на этот знак. Он никогда не был мистиком, но до мозга костей оставался картографом. И сейчас его интересовала не семантика, а геометрия.

– Любопытно, – произнес он, и в этом слове не было одобрения, лишь сухая констатация аномалии. – Напоминает пометки на полях у безумных космографов. Алхимический символ, стилизованный навигационный узел... Где ты это откопал?

– Это не имеет значения. Пока. – Мигель ткнул пальцем в точку у побережья Назаре, которую он обвел красным. – Мне нужны все исчезновения. Не только крушения, а именно исчезновения. Суда, которые вышли и не вернулись, не оставив обломков. В радиусе ста морских миль от кромки Назарского каньона. За последние... – он сделал паузу, давая вес своим следующим словам, – сто лет.

Вашку медленно водрузил очки на переносицу. Его глаза, снова увеличенные стеклами, стали похожи на два идеально круглых холодных аквариума.

– Сто лет и сто миль вокруг самой глубокой подводной пропасти в Европе? – он откинулся на спинку кресла, сложив пальцы домиком. – Мигель, ты просишь меня выловить иголки в стоге сена, который к тому же находится на дне пятикилометровой расщелины. Это не архивный запрос. Это... охота на призраков.

– Именно так, – без тени улыбки ответил Мигель. Его взгляд был твердым. – Ты же любишь детективы, Вашку. Вот тебе дело столетней давности. Я не верю в совпадения. Я верю в закономерности. И эта карта... она говорит, что Назарский каньон – не просто дыра в океане. Это точка на карте. Цель. Мне нужно доказать, что наша трагедия была не первой. И, – он тяжело сглотнул, – не последней.

Работа закипела, приняв форму мучительного, почти монашеского ритуала. Дни слились в недели, выстроившись в бесконечную череду утр, когда Мигель пробивался сквозь спертый воздух читального зала, и вечеров, когда он выползал оттуда, ослепленный уличным светом фонарей и фар. Он проводил часы в ритуальном полумраке под зеленым абажуром единственной лампы, чей свет выхватывал из тьмы лишь островок стола, частично покрытый пылью. Его глаза, воспаленные от бессонницы и ядовитой мелкости готического шрифта¹⁴, выживали из тысяч страниц не факты, а призрачные схемы. Он искал не просто отчеты, а почерк невидимого хищника. Он сводил в таблицы даты, словно вычисляя циклы его активности, вычерчивал траектории, ловчие тропы в океане, сравнивал погодные условия в поисках аномалий, которые были бы его спутниками.

¹⁴ **Готический шрифт** (*escrita gótica*) – до XIX века в Португалии использовался специфический рукописный шрифт, который трудно читать.

Вашку тем временем копал глубже, в современном, цифровом мире. Используя свои связи в архивах и страховых компаниях, он был тенью Мигеля в мире нулей и единиц. Их вечерние звонки стали краткими, лаконичными обментами разведанными между двумя фронтами одной войны.

– Нашел еще одно, 1978 год. Рыболовный траулер «Аурора». Пропал без вести в ясную ночь. Ни сигнала бедствия, ни обломков, – докладывал Вашку.

– А погода? – тут же спрашивал Мигель, заносая данные в свою растущую таблицу.

– Штиль. Полный штиль. Как и в случае с «Санта-Лючией» в пятьдесят третьем.

И вот, в один из таких вечеров, когда Мигель уже почти смирился с очередным тупиком, его пальцы наткнулись на хрупкий, пожелтевший лист бумаги. Это был судовой журнал шхуны «Эсперанса»¹⁵, датированный 1981 годом. Последняя запись, сделанная дрожащей, но разборчивой рукой, заставила его кровь остановиться: *«...туман сгустился внезапно, но не природного происхождения, он поглотил солнце за секунды. Впереди... огни. Не наши. Не те, что должны там быть. Похожи на старинный фонарь. Команда в панике. Слышен... скрип. Древний скрип дерева, будто призрак плывет рядом. Мы пытаемся отвернуться, но руль не слу...»* На этом запись оборвалась.

Сердце Мигеля заколотилось, выбивая неровную дробь торжества и ужаса. Это был не просто отчет о крушении. Это было свидетельство. Прямая речь с того света. Очевидец описывал не шторм, не косатку и не техническую неисправность. Он описывал встречу. И в этой встрече, сквозь века, Мигелю почудился тот же леденящий ужас, что он сам испытывал в детстве, глядя на бесконечную, поглощающую свет пучину, забравшую отца.

Он продолжил лихорадочно копать, уже не как ученый, а как одержимый, выискивая в документах любой намек на аномальные туманы, необъяснимые огни или скрип старого дерева. И тогда узор, жуткий и неумолимый, начал проявляться, но не на бумаге, а у него в голове, как проявляется фотография в красной комнате, открывая скрытое изображение. От «Эсперансы» в 81-м он протянул нить к яхте, перевернувшейся в 2023-м в абсолютно невыносимых для волн-убийц условиях. От нее – прямо к атаке косаток¹⁶ в 2025-м, где в отчете береговой охраны мельком упоминалось, что животные вели себя *«нервно, будто спасались от чего-то»*.

Потом его взгляд упал на дату гибели «Марии до Мар». Его отца. И он понял. Это не было цепью случайностей. Это маршрут. Скоростная трасса призрака. И его отец был не случайной жертвой. Он был одной из многих целей, отмеченных на этой карте. Каждая тонкая, едва заметная линия с той самой карты – не маршрут следования, а прицельный луч, наведенный на очередную жертву.

Теперь Мигель точно знал, что искать. Ему нужен не просто список кораблей, а хронология нападений. Карта, на которую можно нанести не только точки гибели, но и интервалы, и циклы этого непостижимого хищника. Приключение перестало быть просто поиском в пыльных архивах. Оно превратилось в настоящую погоню. И следующей остановкой на этом маршруте должен был стать не архив, а само логово чудовища, а именно – бушующие воды у города Назаре.

Он больше уже не историк, копающийся в прошлом. Теперь он капитан, берущий курс навстречу шторму, зная, что единственный способ поймать призрака – это выманить его из тумана. И он знал, как это сделать. Он сам станет наживкой.

¹⁵ «Эсперанса» (с португ. Esperança) – «Надежда».

¹⁶ Атака касаток – в ночь на 1 декабря 2025 года стая косаток напала на яхту у побережья португальского города Назаре.

Глава 4. Стена страха

Идея была не просто безумной – она была оскорблением, брошенным в лицо самому океану. И мир моряков¹⁷, замкнутый мир со своими законами и богами, незамедлительно указал на это старику, осмелившемуся его потревожить.

Для местных рыбаков Назарский каньон¹⁸ – не просто глубокая впадина на карте – это табу. Дыра в самом мире, живое существо, спящее на пороге их домов. Место, куда нормальные здравомыслящие люди, а именно те, кто хочет дожить хотя бы до вечера и обнять своих детей, не совались без острой и смертельной необходимости. Это была не вода, а зловещая чернильная тень, ползущая по краю сознания каждого, кто выходил в море на небольшой лодке.

Мигель в своем старом потертом профессорском пиджаке казался призраком из другого времени, затерявшимся среди грубой силы и задубевшей от солнца кожи порта. Он обошел уже десятки судов: от ржавых траулеров, пахнувших рыбой и мазутом, до быстроходных катеров, чьи владельцы смотрели на него с настороженным безразличием. И каждый раз разворачивался один и тот же маленький спектакль отчаяния.

Он всегда начинал вежливо, по-академически, объясняя свою нужду в аренде судна для «океанографических изысканий». В ответ же получал лишь покачивание головой, тяжелый и полный сомнения взгляд, а также многозначительное постукивание пальцем у виска. Один коренастый капитан с лицом, прожженным штормами, грубо рассек воздух ладонью: *«В Каньон? Старик, твои кости не то что к островам – они к илу на дне прилипнут. Ты хочешь сделать из своей седой бороды венок для Нептуна? Иди-ка ты лучше в кабак, там тебе нальют забвения».*

Когда вежливость не сработала, Мигель перешел к единственному аргументу, который у него оставался. Он начал предлагать деньги: все свои сбережения, годами откладывавшиеся из скромной пенсии и небольших гонораров. Пачки купюр, которые он с дрожью в руках доставал из своего внутреннего кармана, выглядели здесь не только чужеродно, но и жалко. И хуже всего было то, что деньги никого здесь не интересовали. Их отталкивали не как сумму, а как чистое оскорбление. Здесь, на краю бездны, правил вовсе не капитал, а древний, животный, буквально впитанный с молоком матерей страх. Его нельзя было купить, но можно разделить или разбиться о него насмерть.

От одного старого консервщика, чей отец когда-то плывал с капитаном Руем, он услышал тихий шепот: *«Они не злые, профессор. Просто они знают, что там, в глубине... не просто вода. Там тишина, которая слышит все твои мысли. А иногда... она смотрит вверх».* Мужчина перед тем, как отвернуться, суеверно сплюнул через левое плечо, отгоняя дурной глаз, который, по его мнению, принес с собой этот странный одержимый старик.

К вечеру Мигель стоял на конце волнореза, глядя на идеально спокойную, ласковую гладь океана, позолоченную закатом. Он сжимал в кармане комок денег, которые оказались бесполезной бумагой. А ведь он был так близко: карта, дневник, разгадка – всё было у него уже в руках. И так бесконечно далеко, отделенная от него не милями, а вековым ужасом, ставшим прочнее любой стали. Стена страха оказалась неприступной. И он остался по эту сторону один, со своей безумной правдой, которую некому было рассказать.

¹⁷ **Мир моряков** – у моряков всегда было много суеверий. Например, **женщина на борту – к беде** – португальские моряки считали, что присутствие женщины на корабле вызывает ревность судна и гнев морских богов.

¹⁸ **Назарский каньон** – его глубина около 5 км (5000 м); длина примерно 230 км. Расположен в 100 км к северу от Лиссабона, простирается в Атлантический океан. Верхняя часть каньона имеет направление с востока на северо-восток, средняя и нижняя части – с востока на запад. Голова каньона же расположена очень близко к суше – на глубине около 20 м и всего в нескольких метрах от пляжа.

Отчаяние Мигеля стало густым и тягучим, как мазут в трюмах ржавых траулеров, что его окружали. Оно неприятно липло к коже, упрямо въедалось в легкие, отравляя каждую мысль. Он стоял, прислонившись к груде проржавевших якорных цепей, и смотрел, как последние рыбацьи лодки возвращаются в гавань. Все, кроме той, что ему нужна. Его мечта о плавании разбивалась о стену суеверного страха, и он чувствовал себя не ученым на пороге великого открытия, а старым, безумным неудачником.

В кармане его пиджака лежал бумажник, потертый временем до состояния тряпки. Он машинально достал его, и пальцы, привыкшие к шершавой поверхности старинных фолиантов, наткнулись на нечто хрупкое и гладкое. Пожелтевшая фотография, которую он не решался вытащить уже не одно десятилетие.

И вот сейчас он смотрит на нее, стоя на краю того самого мира, что был когда-то запечатлен на снимке. Здесь он, двенадцатилетний, загорелый почти дочерна, с беззубой улыбкой во все лицо. Его отец, капитан Руй, настоящий исполин в растянутом джемпере, его смеющиеся глаза, казалось, излучали собственный свет, способный разогнать любой туман. Они стояли на фоне белоснежного, стремительной шхуны «Голубка»¹⁹, гордости его отца до того, как он перешел на большее рыбацкое судно.

А рядом с отцом стоял еще один человек. Луиш Кардозу. Штурман, лучший друг и практически второй отец для Мигеля. На фотографии его рука лежала на плече мальчика, а в глазах светилась такая же беззаботная радость, как и у его отца.

Луиш. Который выжил в тот день только потому, что за день до рокового выхода слег дома с жуткой лихорадкой. Человек, который, узнав о гибели «Марии до Мар», не проронил ни единой слезинки. Казалось, что он в тот момент просто окаменел. Луиш не просто бросил море. Он наглухо отгородился от него, словно заварив стальной плитой люк в собственной душе. *«Океан забрал свое, – сказал он как-то повзрослевшему Мигелю, и его голос был плоским и пустым. – И больше я ему ничего не должен.»* Он поклялся никогда больше не ступить на палубу и сдержал свою клятву до самого гроба.

Он давно умер. Но память о нем... все еще жила. И не только в сердце Мигеля.

Мысль ударила его с такой силой, что он едва не выронил фотографию. Луиш сдержал клятву. Но вот его внук?

У Луиша был внук. Мальчишка, всегда крутившийся вокруг «Голубки» и глотавший истории опытных капитанов с жадностью, которой позавидовал бы и сам Мигель. Он вырос. Стал ли он похож на деда? Пошел ли против его воли обратно к океану?

Сердце Мигеля, еще минуту назад сжавшееся в ледяной ком, вдруг забилося с новой, безумной призрачной надеждой. Он судорожно сунул фотографию обратно в бумажник, не видя больше перед собой ни порта, ни насмешливых взглядов моряков.

Стена страха все еще оставалась неприступна. Но что, если попытаться обойти ее? Не через дверь, а через окно, оставшееся от его собственного прошлого? Он ведь не просто искал корабль. Он искал «Голубку». И если она еще на плаву, то шансы найти путь к Каньону были куда выше, чем у любого другого судна. Ведь она уже однажды вернулась из небытия.

Дом Кардозу²⁰ оказался скромной, даже немного запущенной виллой с облупившейся голубой краской, словно сама постройка медленно сдавала свои позиции под натиском соленых ветров. Но ее расположение было куда более красноречивым и горьким: с небольшого, заросшего олеандрами балкона открывался неумолимый панорамный вид на океан – тот самый, что когда-то навсегда забрал у этой семьи лучшего друга их деда.

¹⁹ «Голубка» (с португ. *Pomba*) – в Португалии лодки часто называют женскими именами или символическими названиями. «Голубка» означает мир.

²⁰ Кардозу – распространенная португальская фамилия (в честь мореплавателя Фернана Кардозу).

Сердце Мигеля бешено колотилось, когда он стучал в потертую дверь из темного дерева. Ему открыл молодой человек лет тридцати. В его чертах – упрямом, квадратном подбородке и густых бровях – безошибочно угадывался Луиш. Но глаза... они были другими. Не выжженными горем и страхом, как у его деда, а спокойными, ясными и глубокими, как океан в штить. Это были глаза человека, который знает воду и не боится ее, но и не питает в отношении нее глупых иллюзий. Его звали Тьяго.

Он молча впустил Мигеля в прохладный полумрак гостиной, где на полках рядом с современной электроникой стояли старые латунные барометры и деревянные модели парусников. Выслушал сбивчивую и обрывочную речь старика: о дневнике, карте, трех кольцах и необходимости добраться до Каньона.

Тьяго не перебивал. Он сидел молча, склонив голову, в то время как его пальцы медленно перебирали толстую корабельную веревку, служившую брелком для ключей. Когда Мигель закончил, в комнате повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь доносящимся с улицы отдаленным шумом прибора.

– Мой дед, – наконец тихо, почти шепотом, начал Тьяго, – Луиш... Он никогда не рассказывал о том дне. Ни слова. Мама говорила, что это была не просто рана, а шрам, навсегда закрывший его душу. – Он поднял глаза на Мигеля, и в их глубине плескалась отнюдь не детская печаль. – Но однажды, когда мне было лет десять, мы смотрели с ним на закат над водой. Он был молчалив, как всегда. А потом вдруг положил мне руку на плечо, тяжелую, будто камень, и сказал: *«Запомни, мой мальчик. Океан иногда рождает тени. От кораблей, от людей, от своих собственных мыслей. И некоторые из этих теней... очень голодны»*.

Тьяго замолчал, давая Мигелю возможность в полной мере ощутить леденящий смысл этих слов.

– Я не знаю, что он видел тогда, – продолжил он. – И не знаю, что ищете вы. Но я знаю «Голубку». Дед завещал мне ее. Я сменил двигатель, настил палубы, но душа у нее все та же. Она еще помнит вашего отца. И моего деда. – Он встал и подошел к окну, глядя на океан, и, помолчав ещё с минуту продолжил: – Если есть шанс, что она сможет закрыть ту старую рану... Я не могу этого не сделать. Хотя бы ради деда.

Он повернулся к Мигелю. В его спокойных глазах зажегся твердый и решительный огонь.

– Когда отчаливаем?

Мигель медленно развернул на столе перед Тьяго карту, но не ту кошмарную из дневника с ее безумными спиралями и тремя кольцами, а свою, над которой работал много часов. Подробнейшую навигационную карту побережья, испещренную десятками, если не сотнями, аккуратных алых крестов. Где каждый крест – не просто судно, а история. Дата, название, тип корабля, обстоятельства гибели. Все было выведено его дрожащей от артрита, но в то же время неутомимой рукой.

Теперь он говорил не как одержимый мистик, а как настоящий ученый, чья жизнь прошла в стенах архивов. Его голос неожиданно приобрел твердость, когда он водил пальцем по этим скоплениям трагедий.

– Смотри, Тьяго. Все это не случайность. Это – закономерность. Статистическая аномалия, которую нельзя списать только лишь на коварство течений или внезапные штормы. Обрати внимание на хронологию волны исчезновений и локацию. Все они в радиусе влияния Каньона, будто некий вихрь, возникающий раз в несколько лет и затягивающий в свою воронку все, что оказывается рядом.

Мигель не стал упоминать призраков. Он говорил о давлениях, необъяснимых сбоях навигационных приборов и странных акустических аномалиях, зафиксированных океанографами. Он представлял не легенду, а научную загадку, гипотезу, требующую проверки.

И Тьяго, с детства впитывавший не суеверия, а уважение к океану и труду таких людей, как его дед, все видел. Но не бредовую искру безумия, а ровный и ясный огонь последней

правды в потухших глазах старика. Огонь человека, который потратил большую часть своей жизни, чтобы докопаться до сути величайшей трагедии своего детства, и теперь стоял на пороге этого открытия.

Молодой человек долго молчал, изучая карту. Его взгляд скользил по алым отметкам, словно он читал безмолвную летопись катастроф.

– «Голубка»... – наконец произнес он, и в его голосе прозвучала какая-то особая, почти сыновняя нежность. – Она стоит в доке, в соседней бухте. Я поддерживаю ее в готовности. Каждые выходные проверяю. – Он посмотрел прямо на Мигеля. – Дед завещал мне ее. Никаких документов, просто взял однажды мою руку и положил на штурвал. *«Она твоя, – сказал. – Смотри за ней. Может, однажды она кому-то понадобится».*

Тьяго тяжело вздохнул, и в этом вздохе было прощание с тихой и безопасной жизнью.

– Я всегда думал, что это просто слова старого моряка. Но теперь понимаю... возможно, он знал. Знал, что ты вернешься. И что «Голубке» суждено совершить свое последнее, самое важное плавание.

Подготовка была лишена какого бы то ни было романтического флера. Это была не предвкушаемая авантюра, а суровая, методичная необходимость, сродни подготовке к штурму неприступной крепости. Двое непохожих мужчин: седой профессор, чьи руки больше привыкли к страницам книг, и молчаливый, коренастый моряк, в чьих жилах текла соленая кровь поколений рыбаков, стали единым механизмом на палубе старой, но до блеска начищенной шхуны.

Дни напролет они проводили в доке, наполненном запахом смолы, свежей краски и металла. Воздух гудел от работы шлифовальной машинки, пронизанный резкими и отрывистыми командами. Мигель, сгорбившись, с лупой проверял каждый сантиметр такелажа, высматривая малейшие признаки износа на тросах, которые могли стать последней линией между жизнью и гибелью. Его пальцы, привыкшие к нежной бумаге, теперь огрубели от пеньковых веревок и машинного масла.

Тьяго, молчаливый и сосредоточенный, работал с молотком и гаечным ключом, его движения были выверены и экономичны. Он не тратил сил на лишние слова. Их диалоги были краткими, как радиопереговоры в шторм:

– Яхтенный скотч²¹ есть?

– Есть. А также эпоксидка²².

– Карты обновил? Спутниковые снимки течений?

– Все здесь, как и запасные аккумуляторы для эхолота²³.

Они не грузили на борт сувениры или бутылки для загадочных посланий. Они затаскивали дополнительные ящики с аварийными маяками, проверяли герметичность спасательных плотов и опреснитель воды. На носу «Голубки», будто копьё, направленное в самое сердце чудовища, Тьяго установил мощнейший эхолот, способный прощупать дно даже в пятикилометровой бездне, и прочную подводную камеру в титановом корпусе, способную выдержать чудовищное давление.

Это было вовсе не путешествие за сокровищами. А военный поход в логово самого Левиафана²⁴. И они оба знали одно: они готовятся не просто к плаванию. Они готовятся к бою. Бою

²¹ **Яхтенный скотч** (морской скотч) – специализированная клейкая лента для применения на судах и яхтах. Отличается высокой стойкостью к влаге, УФ-излучению, перепадам температур и соленой воде.

²² **Эпоксидная смола** – двухкомпонентный полимерный материал (смола + отвердитель), образующий после смешивания и отверждения прочный, твердый, водонепроницаемый слой. Широко применяется в судостроении и ремонте яхт.

²³ **Эхолот** – для каньона глубиной 5 км нужен специализированный глубоководный эхолот (не бытовой!), работающий на низких частотах (3–12 кГц) с мощностью излучения в киловаттном диапазоне.

²⁴ **Левиафан** (др.-евр. לִוְיָתָן / *ливъятан* – «скрученный, свитый»; греч. Λεβιάθαν) – мифологическое морское чудовище,

с бездной, которая уже однажды отняла у них самых близких. И на сей раз они были полны решимости либо вырвать у нее ответы, либо разделить участь тех, кто отправился в Каньон до них.

В день отплытия мир словно затаил дыхание. Небо, еще вчера бездонное и синее, нависло над Назаре низкой пеленой свинцовых облаков, приглушая цвета и звуки. Воздух стал тяжелым и влажным, он обволакивал кожу прохладной сыростью и предвещал не шторм, а нечто другое, словно сама стихия замерла в недоумении перед их затеей.

Порт провожал их не одобрительными криками или традиционными напутствиями. Шхуну провожали гнетущим молчанием. Рыбаки, чинившие сети, замерли и смотрели им вслед взглядами, в которых не было ни любопытства, ни насмешки, только молчаливое понимание людей, провожающих обреченных на смерть. Никто не махал рукой, и лишь старый консерщик, сидевший на ящике, медленно, как обряд, коснулся пальцами своего талисмана – старого клыка акулы²⁵, прежде чем отвернуться.

Мигель стоял на носу «Голубки», вцепившись в холодный, обточенный ветром леер²⁶. Под его ногами палуба, знакомая до боли, вновь оживала: сначала с легкой дрожью, потом с глубоким, мощным гулом, исходящим из недр самого корабля. Эта вибрация проходила через подошвы ботинок, вливаясь в его тело, в его кости, наполняя их не страхом, а чем-то совершенно другим.

Страх остался там, на берегу, вместе с сомнениями и жалостью. Теперь внутри него была ледяная, кристальная пустота решимости. Она выжгла все лишнее: трепет и надежду, оставив лишь холодную, отточенную цель, подобную лезвию ножа. Он был стрелой, выпущенной пятьдесят восемь лет назад, и сейчас, наконец, подлетающей к своей мишени.

Его взгляд, острый и неподвижный, был прикован к линии горизонта. К той самой серой, неумолимой черте, что отделяла хлипкий мир людей от безвоздушного пространства мифа. Ту самую линию, что когда-то, в один миг, сомкнулась над хрупким силуэтом «Марии до Мар» и навсегда поглотила смех его отца. Он смотрел на нее не как сын, ищущий могилу отца, а как исследователь, стоящий на пороге величайшего открытия. Словно палач, идущий к месту казни. Или приговоренный, добровольно шагнувший в зал суда, чтобы выслушать свой окончательный приговор.

Будто сделав свой последний, глубокий вдох, «Голубка» содрогнулась всем своим сорокафутовым корпусом и с низким рокотом дизеля ринулась прочь от пирса. Она не просто отчаливала: она разрывала те последние нити, что связывали их с миром здравого смысла и безопасной суши. Нос шхуны легко вспорол свинцовую гладь залива, и за кормой потянулся пенистый, беспокойный след, похожий на шрам на поверхности водного зеркала.

Они не плыли за ответами. Ответы были уделом кабинетных ученых. Они плыли на встречу, назначенную пятьдесят восемь лет назад в ярости шторма и отблесках призрачного паруса. Каждый оборот винта, каждое колебание стрелки компаса приближало их не к разгадке, а к источнику самой загадки.

И Мигель, стоя на капитанском мостике плечом к плечу с Тьяго, понимал это каждой клеткой своего старого тела. Он чувствовал неестественную густоту окружающей тишины, видел, как тусклый свет, казалось, всасывался неподвижной водой. Он чувствовал странную тяжесть в груди.

Что-то там, в глубине, под этим спокойным, почти мертвым фасадом океана, уже давно ждало их. Но не безразличная стихия, а внимание. Древнее, безразмерное, затаившееся на

описанное в Библии.

²⁵ **Акулий клык** – для португальского моряка он не просто трофей, а символ связи с морем, защиты и удачи.

²⁶ **Леер** (от нидерл. *leier*, от *leiden* – «вести») – туго натянутый трос, оба конца которого закреплены на судовых конструкциях: стойках, мачтах, надстройках.

самом дне пятикилометровой пропасти. Оно вовсе не угрожало и не манило, а просто ждало, как паук на краю паутины, ощущая вибрацию приближающейся добычи. И сейчас, когда «Голубка» пересекла незримую границу, Мигелю почудилось, что он чувствует на себе тяжесть этого самого взгляда, устремленного снизу вверх. Взгляда, от которого буквально стыла кровь в жилах и замирало в страхе сердце.

Глава 5. На краю

«Голубка» вошла в воды Назарского каньона, но не как победитель, бросающий вызов самой стихии, а будто потерянная в бескрайних водах щепка, которую невидимое течение понесло к центру лабиринта. Внезапно стихли ветер и столь привычный шум океана. Наступила звенящая, неестественная тишина, давящая на барабанные перепонки.

Воздух тоже изменился, став густым и вязким. С каждой минутой было все труднее дышать. Воздух стремительно насыщался невидимым электрическим напряжением, от которого по коже бегали мурашки, словно перед ударом молнии, замершей в небе и не желающей обрушиться. Солнце, пробивавшееся сквозь рваные, будто траурный креп, облака, казалось призрачным и отстраненным. Оно не давало тепла, а только холодный, пепельный свет, от которого воды океана становились похожи на расплавленный свинец.

Но несмотря на все это, самое главное чудовище по-прежнему скрывалось под ними.

Тяго не сводил глаз с экрана эхолота. Прибор, обычно отображавший рельефное, но понятное дно, теперь упрямо вырисовывал жутковатую, сюрреалистичную картину. Пологий прибрежный шельф, знакомый каждому рыбаку, внезапно, буквально за кормой, резко обрывался в бездну. Линия дна просто исчезала с экрана, превратившись в ослепительную пустоту. Прямо под их килем зияла черная, беззвездная вселенная, уходящая вниз на пять километров. Это была не просто глубина. Это была самая настоящая пропасть, способная поглотить даже гору Эверест, и над ее краем они сейчас висели, как мошка над пастью Левиафана.

Двигатель «Голубки» заглох. В гробовой тишине они слышали только собственное прерывистое дыхание и тревожный писк приборов. С металлическим лязгом якорь упал в воду, но его цепь уходила вниз всего на полсотни метров – жалкая капля в океане этой тьмы. Они не встали на якорь. Но все-таки сумели зацепиться за самую кромку уходящего мира, тонкую линию суши над бездной. Они бросили якорь на краю не просто обычного подводного обрыва, а на кромке самой реальности, за которой начиналось Неизведанное, столетиями пожиравшее не только корабли, но и человеческие души.

Мигель стоял на носу, костяшки побелели от мертвой хватки, которой он сжимал холодные леера. Все его существо, каждая прожитая минута, каждая пожелтевшая страница, каждый бессонный ночной кошмар – все это сжалось сейчас в один тугой, болезненный комок ожидания в груди. Его взгляд, горящий сухим лихорадочным огнем, не просто всматривался – он буквально буравил туманную, молочную дымку, нависшую над водой, пытаясь силой воли вызвать из небытия знакомый по кошмарам силуэт. Он вслушивался в тишину, выискивая в шепоте волн обещанный легендами скрип старого дерева, ждал, когда сойдет на океан ледящий душу неестественный туман. Он жаждал **Встречи**. Той самой, ради которой он не просто прожил жизнь, а выстроил целый многоходовой ритуал, как долгий путь к этому единственному, решающему моменту.

Но океан никак не отвечал на его вызов. Ничего не происходило. Абсолютно. Ничего.

Лишь оглушительное, гулкое молчание, давившее на уши тяжелее любого глубинного давления. Его нарушали только пронзительные звуки, похожие на насмешливые крики чаек, круживших над кормой, и однообразный, равнодушный рокот волн, разбивающихся о скалы далеко позади, в мире людей, который остался за невидимой чертой.

Проходили минуты, ощущаемые как часы. Напряжение, вместо того чтобы разрешиться всплеском мистического ужаса, начало медленно, неумолимо растекаться тягучей, постыдной усталостью. Лихорадочный огонь в глазах Мигеля стал меркнуть, сменяясь недоумением, а затем и холодной, ползучей стружкой сомнения. Что, если он ошибся? Что, если все его догадки, вся его жизнь, посвященная призраку, были всего лишь попыткой безумного старика

оправдать жестокий несчастный случай, забравший отца? Что, если никаких Врат не существует, а есть только глупая легенда и глубокая, ничем не заполненная дыра в океане?

Часы на мостике тянулись с неестественной, мучительной медленностью, где каждая минута ощущалась как неподъемная физическая тяжесть. То, что начиналось как напряженное предвкушение развязки, стало оборачиваться тягостным, изматывающим недоумением. А затем, как холодная вода, просочившаяся в трюм, стало накатывать гнетущее разочарование. Вера, что горела в Мигеле все эти годы, угасала, оставляя после себя только горький пепел сомнения. Он чувствовал себя не исследователем на пороге открытия, а старым дураком, которого океан просто-напросто игнорировал.

Его взгляд, еще недавно такой острый, теперь бесцельно скользил по серой глади воды. Внутри все сжалось в тугую, болезненный узел.

– Может... может, мы не в то время пришли? – прошептал он, и его голос прозвучал хрипло и потерянно, как будто он признавался в этом самому себе, а не Тьяго. – В дневнике... я просчитывал... там были указания на лунные циклы и особые приливы... Я мог ошибиться. Я, наверное, оши...

Его голос прервался, не в силах выговорить это слово – «*ошибся*». Признать это значило перечеркнуть всю свою жизнь.

Тьяго, стоявший у штурвала, даже не повернулся. Его спокойный, ровный голос прозвучал словно контрапункт нарастающей панике Мигеля.

– Или он появляется не для всех, – практично заметил моряк, его взгляд, закаленный годами в океане, продолжал сканировать горизонт с профессиональным бесстрашием. – Может, ему нужен не просто день в календаре. Может, нужен особый шторм, который сгибает мачты. Или лунное затмение, чтобы стереть границу между мирами. – Он на мгновение замолчал, давая словам пропитаться. – Или... он просто не хочет показываться. Пока. Может, мы для него – просто еще одна лодка. Или не та, которую он ждет.

В его словах не было мистики. Это была простая, почти зловещая логика хищника, что выходит на охоту не по расписанию, а когда сам того пожелает. И эта мысль была страшнее, чем любое внезапное появление призрака.

Решив не терять времени на пассивное ожидание неизвестности, они превратили «Голубку» в плавучую лабораторию, напряженно гудевшую тихой электронной жизнью. Мощный эхолот, будто слепой циклоп, посылал в черноту свои импульсы, рисуя на экране не рельеф дна, а график бесконечного падения: цифры глубины росли с безумной скоростью, пока не превратились в абстракцию за гранью тех самых пяти километров.

Затем настал черед подводной камеры. Тьяго аккуратно спустил устройство за борт, и она медленно погрузилась в ледяную мглу, где ее корпус поскрипывал под нарастающим давлением. Изображение на мониторе в рубке было пугающим в своей абсолютной, безжизненной пустоте. Сначала сплошная сумеречная синева, быстро сгущавшаяся в окончательную, крошечную тьму – ту самую, что была старше самого времени и никогда не знала солнца.

Лишь изредка в луче прожектора, будто демоны из древнего ада, проплывали причудливые создания: рыбы-удильщики с костяными ликами и светящимися приманками, болтающимися перед пастьями, полными иглоподобных зубов. Они возникали из ниоткуда и растворялись в никуда, безразличные к любопытству существ с поверхности.

Больше не было ничего. Ни искривленных металлических остовов, ни поблескивающих иллюминаторов кораблей-призраков, ни россыпей обломков. Никаких следов вековых крушений, никаких «ворот», никаких сокровищ. Лишь нетронутый веками толстый слой ила, поглощавший все без остатка.

Бездна не отвечала на их вызов. Она не угрожала и не соблазняла. Она просто была: холодная, безмолвная и абсолютно равнодушная. Ей не нужно было хранить свои секреты.

Ведь она сама была главным секретом, и сейчас молчаливо демонстрировала им, что все их усилия, все теории – не более чем жалкий тихий шепот на пороге вечного безмолвия.

Отчаяние, холодное и тягучее, как глубинный ил, почти полностью поглотило Мигеля. Он отвел взгляд от ничего не показавшей камеры и уставился в пустоту, чувствуя, как тяжесть всей его бессмысленной жизни давит на плечи. Еще минута – и он попросил бы Тяго развернуться, чтобы поплыть обратно к берегу, к своему безумию и позорному поражению.

И именно в эту секунду его потухший, почти невидящий взгляд скользнул по экрану эхолота и застыл.

На самой границе разрешения прибора, там, где данные начинали расплываться в цифровой шум, на крутом склоне подводной пропасти эхолот вырисовывал... аномалию. Не бесформенный выступ скалы, не нагромождение валунов. Это был странный, геометрически правильный объект. Длинный, прямой контур, изредка прерывающийся под прямыми углами. Слишком ровный, чтобы его создала природа, и слишком огромный, чтобы быть обломком обычного судна.

Сердце Мигеля не просто тихо затрепетало – оно, казалось, на мгновение остановилось в ожидании.

– Тяго... – его голос сорвался на хриплый, прерывистый шепот, в котором смешались страх и ликующий ужас. Он не мог оторвать пальца от точки на стекле экрана. – Смотри... Это... слишком ровно. Слишком... правильно.

Бездна наконец-то им ответила. Но не призраком, а молчаливой, необъятной архитектурой, надежно скрывавшейся во тьме.

В тот же миг, словно невидимый великан наступил на горло цивилизации, все электрооборудование на «Голубке» разом испустило дух. Пронзительный писк эхолота, ровный гул навигационного компьютера, тихое шипение рации – все было грубо вырвано из реальности, сменившись оглушительной и абсолютной тишиной. Лампочки на панели управления погасли, как закрывшиеся глаза, оставив рубку в сумеречном мраке. Их мир, всего секунду назад наполненный цифрами и приборами, теперь состоял только из гнетущей тишины, нарушаемой убаюкивающим и вдруг ставшим зловещим плеском волн о борт шхуны.

И в этот самый момент пришел Он. Туман.

Не подполз с горизонта, как это обычно бывает, а спустился на палубу сверху, медленно и тяжело, как опускается саван. Холодный, неестественно густой, молочно-белый и абсолютно беззвучный. Туман не походил на морскую дымку; он был более плотным, как вата, поглощающая не только свет, но и звук. Шепот буквально тонул в нем, не успевая долететь до уха. Он окутывал абсолютно все, стирая границы и превращая «Голубку» в крошечный, затерянный ковчег в безвременной белой пустоте. Это была тишина, обретающая плоть, и она приходила за ними.

Разочарование Мигеля, та тяжелая свинцовая гиря на душе, мгновенно испарилось, вытесненное двумя мощными, противоречивыми чувствами: леденящим душу ужасом и лихорадочным, почти истерическим торжеством. Дрожь, пробежавшая по его телу, была не только от страха, но и от триумфа. Он был прав. Все эти годы, все те насмешки, все его одинокие ночи с дневником вовсе не были безумием.

Они были не одни.

Назарский каньон не был пуст. Он просто искусно замаскировался под безжизненную пропасть, притворяясь спящим, чтобы заманивать любопытных поближе.

И «Летучий Голландец» ... Легенда оказалась правдой, но реальность была страшнее любого мифа. Призрачный корабль не появился в виде скрипучего парусника из тумана. Он проявил себя совсем иначе: более современно и куда более жутко. Он отключил их технологии, одним махом отрубив от всего мира, от помощи, от логики XXI века. И заключил в кокон: вневременной, беззвучный и абсолютно непроницаемый.

Охота не провалилась. Она только что перешла в новую, совершенно непредсказуемую фазу. Призрак не показывался сам, но он окружал их, став самой тканью этого тумана, сутью пугающей тишины. Он был логовом, и сейчас внезапно ожил, почуяв их внутри.

Теперь, стоя спиной к спине с Тьяго в наступающей белой мгле, Мигелю предстояло понять и разгадать самую главную загадку: кем они являются в этой внезапно начавшейся игре – охотниками, нашедшими след... или же добычей, попавшей в пасть к неведомому хищнику.

Глава 6. Испытание туманом

Туман обволакивал «Голубку» не как простое погодное явление, а словно живая, дышащая субстанция, обладающая собственной волей. Он струился по палубе не клубами, а плотными, молочно-белыми потоками, неестественно густыми и тяжелыми. Воздух стал влажным и холодным, но это был отнюдь не обычный морской холод. Он буквально пробирал до костей странным, внутренним ознобом, будто сама плоть реальности теряла свое тепло.

Но несмотря на холод, самым жутким по-прежнему оставалась его абсолютная беззвучность. Это был не просто недостаток шума, а активное и ненасытное поглощение звука. Плеск волн о борт, еще минуту назад такой знакомый и громкий, теперь доносился словно приглушенный, далекий вздох, а затем и вовсе растворился в этой ватной, давящей тишине. Даже их собственное дыхание и стук сердца в ушах – казалось, что и эти последние звуки вот-вот будут украдены.

Они застыли не просто в подвешенном состоянии, а в идеальном, безвременном вакууме. Это был самый настоящий саркофаг из облаков, выкованный для них по индивидуальной мерке. Вселенная, какой они ее до сих пор знали, перестала существовать за бортом. Реальность съезжилась, сжалась до хрупких размеров палубы «Голубки», став их последним и единственным островком. За ее пределами не было ни прошлого, ни будущего, ни неба, ни воды – только белое, безразличное **Ничто**, которое, в то же время, дышало и наблюдало.

Именно в этой гнетущей, абсолютной тишине, когда слух оказался полностью бесполезен, они впервые почувствовали ЭТО. Не увидели и не услышали, а именно ощутили на коже, будто сама пустота внезапно обрела тактильность.

Сначала это было едва уловимое прикосновение, легчайшее, словно шелковая нить паутины, скользнувшая по щеке Мигеля. Он машинально, почти раздраженно, смахнул рукой, ожидая найти влажную нить тумана. Но там ничего не было. И вместе с тем ощущение не прошло. Оно осталось, как холодный, невесомый след, когда невидимый палец провел по его коже, оставляя за собой мурашки.

Прежде чем он успел что-то сказать, Тяго, всегда такой невозмутимый, вдруг вздрогнул всем телом, как от внезапного удара током. Он резко, почти с паникой, обернулся, вглядываясь в неподвижную молочную пелену за спиной. Его лицо побледнело.

– Кто-то... – его голос, обычно твердый и уверенный, вдруг сорвался на сдавленный шепот, в котором впервые зазвучала трещина настоящего, животного страха. – Кто-то только что дотронулся до моего затылка. Холодной... костяной рукой.

В этих словах, прозвучавших в звенящей тишине, не было места для сомнений. Это определенно не был сквозняк и не походило на брызги воды. Скорее целенаправленное, почти изучающее прикосновение. Их не просто отрезали от мира. Ведь сейчас они совершенно точно не были одни в этом странном белом саркофаге. Что-то невидимое, нематериальное, но осязаемое делило с ними палубу, бесшумно двигаясь в тумане и прикасаясь к ним с тихим, леденящим душу любопытством.

Это были невидимые щупальца, но не из плоти и крови. От этого не менее, а возможно, даже и более реальные в своей леденящей осязаемости. Они не хватали и не сжимали, а просто исследовали. Холодные, шелковисто-невесомые прикосновения скользили по их коже, словно незримые пальцы слепого скульптора, читающие историю их жизни по шрамам, морщинам и мурашкам страха. Каждое прикосновение превращалось в вопрос, лишенный слов, но наполненный глубоким смыслом. Они, казалось, пробовали на вкус соленую испарину их ужаса, вынюхивали кислотный запах адреналина, смешанный с железной стойкостью их решимости.

Воздух вокруг сгустился, став тягучим и плотным, как сироп. Дышать стало мучительно тяжело. Каждый вдох был борьбой: легкие наполнялись не спасительным кислородом, а чем-то

древним, спящим на дне не одно тысячелетие, чуждым и враждебным самой биологии человека. Оно обволакивало альвеолы, сопротивляясь газообмену, будто сама атмосфера превратилась в жидкую тьму.

Осознание пришло с кристальной, обессиливающей ясностью. Они не единственные живые существа, запертые в этом призрачном тумане. Сейчас они находились под микроскопом. А эта белая, беззвучная пустота стала чашкой Петри, в которой они плавали, в то время как незримое, безразмерное сознание за стеклом иного измерения внимательно изучало реакцию двух букашек-человечков на прикосновение к запредельному. Теперь они были не охотниками и даже не добычей. Они стали обычным образцом.

– Держись, Тьяго, – голос Мигеля прозвучал хриплым шепотом, разрывая гнетущую тишину, и это прозвучало так кощунственно громко, будто крик в святилище. Он цеплялся за последние обломки логики, как утопающий за соломинку. – Это... это просто иллюзия. Психофизический обман, наведенный на сознание. Гипноз низкого давления...

– Иллюзии не пахнут, профессор, – тихо, почти апатично, парировал Тьяго. Он стоял, втянув голову в плечи, будто боксер, готовящийся к удару, и его ноздри трепетали, улавливая невидимые потоки в воздухе. Его взгляд был прикован к белой пелене, в которой, казалось, вот-вот проступят очертания. – Чувствуешь? – его вопрос повис в липком воздухе. – Пахнет мокрым камнем склепа. И... выцветшими чернилами. Такими же старыми, как и сама эта бездна.

Мигель замер, и его собственное дыхание застряло где-то в горле. Он почувствовал. Сквозь ледящий холод и влажность тумана пробивался едва уловимый, но очень отчетливый шлейф. Запах старого пергамента, сгнивших переплетов и чернил, которые столетиями впитывали в себя соленый воздух отчаяния. Это был запах дневника. Тот самый запах, который он годами вдыхал в своем кабинете.

И в этот миг его научные построения разом рухнули, разбившись о простой, неопровержимый факт, который можно было понюхать. Призрак здесь. И он дышал на них своим тленным дыханием.

С каждым часом, проведенным в этой белой, беззвучной ловушке, сохранять хрупкую оболочку рассудка становилось все труднее. Туман стал не просто физическим явлением, а живым, давящим сознанием, которое медленно просачивалось в их умы, навязывая свои собственные, чуждые живым образы.

Для Мигеля, человека зрения и мысли, атака велась через глаза. Молочная пелена перед ним начинала шевелиться, и в ее глубине, на границе периферийного зрения, мелькали бледные, размытые силуэты. Они не имели лиц, только общие очертания человеческих фигур, которые возникали на секунду, словно призрачные отражения в запотевшем стекле, и тут же растворялись, оставляя после себя лишь ощущение чьего-то пристального, безглазого взгляда.

Для Тьяго же, человека инстинкта и чувств, пытка была иного характера. Он, всегда доверявший своим ощущениям, теперь сжимал голову ладонями, пытаясь физически заглушить то, что проникало прямо в его сознание. Навязчивый, едва слышный шепот, существовавший на самой грани его восприятия. В нем не было слов, не было языка – один только звук забвения. Напоминавший тихий шелест высохших листьев, несущих прах давно забытых могил, и скрип веток столетних деревьев, рассказывающих о давно исчезнувших бурях. Это был шепот самого времени, увядшего и бессмысленного, вползающего в душу и вытравляющего из нее всякую надежду.

Мигель чувствовал, как его разум – отточенный за десятилетия инструмент, способный выстраивать сложнейшие логические цепочки, – начинает медленно и бесповоротно скользить в бездну. Твердая почва рассудка превращалась под ним в зыбучий песок. Мысли, некогда ясные и упорядоченные, теперь путались и сталкивались, будто обезумевшие муравьи: строчки из дневника Хендрика ван дер Деккена переплетались с полузабытыми детскими страхами о

монстрах под кроватью, а холодные расчеты координат тонули в волнах примитивного, животного ужаса.

Перед его внутренним взором возникало лицо отца. Но это был не светлый образ из старой фотографии. Лицо было бледным, искаженным гримасой немого ужаса, а глаза, широко раскрытые, смотрели сквозь него, в какую-то невообразимую точку позади. И губы, всегда улыбающиеся, теперь лишь беззвучно шептали. Но это не был его голос, и вовсе не слова утешения. Это были обрывки фраз, проклятые строки из дневника призрака: «...отклониться... Врата... три кольца...»

Он понял это с пугающей и холодной ясностью. Они не просто были на краю пропасти. Они были на краю самих себя. Еще немного, еще один призрачный шепот, еще одно невыносимое прикосновение – и белая стена тумана перестанет быть всего лишь внешней преградой. Она просочится внутрь, затянется, как зыбучие пески, заполнив все уголки сознания. И тогда они навсегда останутся здесь, но не как люди, а как призраки, очередные бледные силуэты в этой белой мгле, став частью безмолвного, вечного кошмара, который они так отчаянно пытались разгадать.

– Он не корабль, – неожиданно выдохнул Мигель. Слова сорвались с его губ не криком, а тихим, леденящим откровением, и оно пронзило душу Тьяго острее любого клинка. Внезапная ясность, будто вспышка молнии в кромешной тьме, на мгновение отсекала и давящий туман, и нашептывания призраков. Все вдруг встало на свои места, сложившись в чудовищную и окончательную картину. – Мы думали, мы охотимся на корабль-призрак. Но мы ошибались. Мы были слепы.

Тьяго, все еще сжимавший голову руками, медленно опустил их. Он смотрел на Мигеля, и его глаза, привыкшие к реальным опасностям океана, сейчас были дико раскрыты от нового, непостижимого ужаса.

– Так... так что же это? – его голос был хриплым, почти беззвучным.

– Это... сознание, – произнес Мигель, и его взгляд был обращен внутрь себя, к самой сути открытия. – Древнее и голодное сознание. Не корабль, а его причина. Не следствие, а источник. Это рана в мире. Дыра не в океане, а в самой реальности.

Он повернулся к Тьяго, и в его глазах горел ужасающий огонь понимания.

– И оно питается... О, Боже... Оно питается не плотью. Кости и мясо оно выбрасывает за ненадобностью, как мы выбрасываем шелуху. Оно питается... памятью. Отчаянием. Страхом. Тоской по утраченному. Вот что оно пробует на вкус своими невидимыми щупальцами! Вот почему «Голландец» вечен: он не собирает души, он собирает боль! И мы... мы сами приплыли и подали себя к его столу на блюде с нашим горем!

Это осознание обрушилось на них с весом целой вселенной, и в нем совсем не было утешения. Оно было одновременно спасением и приговором. Спасением, ибо они наконец узрели истинную природу врага. Приговором потому, что теперь они понимали: чтобы вырваться, им предстоит не сражаться с кораблем-призраком, а отстоять крепость своего собственного внутреннего мира. Но как можно сражаться с врагом, который уже просочился сквозь все щели, который уже пустил свои корни в почву их памяти и теперь жадно пил из самого источника: из их самых темных воспоминаний, самых глубоких, детских страхов, самых горьких сожалений?

Они стояли спиной к спине на зыбкой палубе, двое последних живых людей, затерянных в сердце ненасытной, мыслящей пустоты. Они знали, что битва проиграна, если она будет вестись вовне. Внешние атаки, щупальца тумана, леденящие прикосновения были всего лишь ширмой, тактикой отвлечения.

Истинное сражение только начиналось. И оно развернется не здесь, на палубе, а в лабиринтах их собственного сознания. Следующее испытание будет против призраков, что куда страшнее, чем любой моряк-скелет. Ведь им предстоит противостоять призракам их собствен-

ного прошлого. Против невысказанных слов, против боли утраты, против немого укора собственной трусости или, наоборот, глупого безрассудства.

И они оба чувствовали, как один из них, тот, чье сердце было тяжелее от давней, не отпускающей вины, уже сейчас опасно балансирует на острие ножа. Он был на волоске от того, чтобы пасть, распахнув врата своего разума, и стать вечным пиром для этого бессмертного **Голода**.

Глава 7. Тени в тумане

Туман уже больше не был просто туманом, той безжизненной пеленой, состоящей из капель воды. Он стал чем-то бесконечно более чудовищным: живым зеркалом, которое отражало отнюдь не их внешность, а буквально выворачивало наизнанку и выставляло напоказ самые потаенные, прикрытые слоями лет и рациональности уголки их душ. И одновременно проектором, чья линза отполирована их же собственными страхами, выводящим на этот белый, безразмерный экран самых настоящих, выношенных в глубинах подсознания демонов.

Атака на их сознание началась не с оглушительного взрыва или леденящего душу явления. Она началась с тихого, ядовитого шепота, который был куда страшнее любого громкого крика. Но он не звучал извне, а возникал прямо в голове, сливаясь с ритмом их собственных мыслей, подстраиваясь под внутренний монолог, пока не стало невозможно отличить, где кончается твой голос и начинается ЕГО. Он вплетался в биение их сердец, превращая жизненный ритм в странную барабанную дробь, отбивающую такт стремительно надвигающегося безумия.

Для Мигеля это началось не с образа, а с запаха. Сначала едва уловимого, заставляющего вздрогнуть и бессознательно втянуть воздух носом. А потом все более явственного, густого, окутывающего его с головой. Это был терпкий коктейль из морской соли, въевшейся глубоко в кожу, мокрой овечьей шерсти отцовского джемпера и сладковатого, грубого аромата трубочного табака, который капитан Руй курил по вечерам, глядя на океан. Запах его живого, настоящего отца. Запах, который являлся для Мигеля синонимом безопасности и силы.

И тогда белизна внезапно перед ним зашевелилась. Но не как обычный дым, а как занавес, медленно раздвигаемый невидимой рукой. Из белизны, будто фотография, проявляющаяся в химическом растворе, возникла фигура. Он увидел ЕГО.

Но это был вовсе не исполин из его детских воспоминаний, не смеющийся титан с фотографии на «Голубке». А сильно изможденный, тонущий человек. Капитан Руй стоял, по пояс погруженный в ледяную, черную воду, которая, казалось, сочилась из самой белизны тумана. Его мощные плечи ссутулились, одежда тяжело облегла тело. Вода стекала с его поседевших висков и мокрых прядей волос.

Но самым ужасным было его лицо. Оно искажалось не яростью шторма, не борьбой со стихией. На нем застыл немой, всепроникающий укор. Его глаза, цвета морской волны, смотрели прямо на Мигеля, и в них не было ни гнева, ни любви – только бездонная, беззвучная жалость и вопрос, от которого застывала кровь: *«Почему ты не спас меня? Почему ты выжил один?»*

– Ты оставил меня там, сынок... – тихо прошелестела тень, и это был не просто похожий голос, а тот самый, сорванный ветром и соленой водой баритон, в котором Мигель с детства слышал силу и надежность, а теперь лишь леденящее душу разочарование. Казалось, каждое слово сочилось ледяной водой той бездны. – Ты выжил один. Зачем?

Фантом сделал паузу, и его мокрые, бесконечно усталые глаза, казалось, видели Мигеля насквозь. Всю его жизнь: все одинокие годы, все пыльные архивы, все безумные теории.

– Чтобы гоняться за призраком? – голос стал тише, но от этого только ядовитее. – Чтобы превратить мою смерть... в свою одержимость? Ты ведь не искал правды, мальчик мой. Ты просто построил на моей могиле свой сумасшедший алтарь. И теперь привел на заклятие внука моего лучшего друга.

В этих словах, облеченных в голос близкого и самого дорогого человека, заключалась та самая горькая правда, которую Мигель всю жизнь так тщательно подавлял в себе. Но хуже всего было то, что это не ложь призрака, а голос собственной, невысказанной вины, который туман вытащил наружу и облачил в плоть его величайшей боли.

Вина, та самая, что проросла в нем в тот роковой день и все эти годы тихо пускала корни вглубь его души, вдруг вырвалась наружу. Она поднялась из самых темных глубин, но не холодной волной, а раскаленной лавой, что сжигала все на своем пути: логику, сопротивление и даже саму волю к жизни. Она заливала его рассудок, плавила изнутри, превращая в жалкое, беспомощное, страдающее существо.

Перед его внутренним взором, ярче любого призрака, встал образ «Марии до Мар». Но это был уже не корабль его отца, не то гордое судно, бороздящее волны, а гигантский, почерневший гроб, беспомощно подбрасываемый свирепыми волнами. И в его трюме, в той самой злополучной каюте, по-прежнему сидело его двенадцатилетнее «я»: не герой и не борец, а всего лишь слабый, перепуганный мальчик, прижавшийся к стенке. Он был слишком слаб, чтобы выйти на палубу и помочь отцу, и слишком испуган, чтобы принять смерть с достоинством. Он просто сидел и ждал, обреченный на вечное ожидание в замочной скважине своей памяти. И этот самый мальчик сейчас смотрел на него, взрослого, глазами, полными немой вопроса: «Почему ты не вернулся за мной? Почему оставил меня здесь одного?»

Рядом с ним, в своей собственной, безмолвной битве, бился Тьяго. Если Мигеля атаковали призраки прошлого, то демоны Тьяго рождались из леденящего душу ужаса настоящего, помноженного на груз ответственности.

Ему не просто чудилось – он буквально чувствовал это физически, каждой клеткой: прочная древесина палубы под его ногами начинала медленно меняться, становясь холодной и прозрачной, словно черный лед. И сквозь нее, как через стекло аквариума, зияла бездонная, утробная тьма Назарского каньона. В этой тьме не было ни скал, ни ила – только абсолютная, засасывающая пустота.

И на него смотрели из этой самой пустоты, но это были не просто сияющие точки, а огромные, светящиеся глаза, каждый из которых размером с их шхуну. В них не было злобы – только разумное, безразличное, всевидящее любопытство. Будто он был букашкой под линзой микроскопа бесконечно древнего существа. Холодный, синеватый свет от них отбрасывал призрачные тени на его лицо.

А шепот... Он звучал в сознании знакомым, осипшим за годы голосом его деда, Луиша. Но он был искажен, лишен того тепла, и каждая фраза подобна отточенным клинкам.

– Я спас тебя от океана, внук... – шипел голос, и в словах слышалось не одобрение, а горькая ирония. – Отказался от него, чтобы ты никогда не познал моего страха. Оставил тебе «Голубку» ... а не проклятие. Лодку, а не безумие.

Тьяго сжал виски, в тщетной попытке выдавить этот голос, но он стал звучать лишь громче, сливаясь с биением его сердца.

– А ты что делаешь? Привел старика-безумца, одержимого трупом своего отца, умирать в пасти к Левиафану. Ты – последний из Кардозу. Последний! И ты не продолжишь наш род. Нет. Ты похоронишь наше имя здесь, в этой белой, беззвучной могиле. Ты станешь концом нашей линии. Мой единственный внук... и величайшее разочарование.

Это был не просто страх смерти, а экзистенциальный ужас: стать тем, кто прервет многовековую цепь, кто заплатит за чужую одержимость своим наследием и будущим всего рода.

Страх Тьяго был пронзительным, острым и до жути конкретным: не эфемерный ужас перед призраком, а тяжелое, давящее бремя. Страх не оправдать доверие деда, стать тем, на ком оборвется многовековая нить их рода, исчезнуть в неизвестности, не оставив после себя ничего, кроме позорной записи о безумной гибели в запретном месте.

– Он... он здесь, – вырвалось у Тьяго прерывающимся, сдавленным шепотом. Он вжимался спиной в спину Мигеля так сильно, что кости, казалось, вот-вот хрустнут, ища хоть какой-то опоры в уплывающем из-под ног мире. – Он не в тумане... Он показывает мне... Он показывает мне саму пустоту. Ту, что будет, когда нас не станет.

Мигель, сам сжимавший голову руками, пытаясь физически раздавить нашептывающие голоса, отвечал сквозь стиснутые зубы. Его голос стал хриплым, но сумел прорваться сквозь пелену кошмара.

– Держись... – это было не призывом, а мольбой, обращенной к самому себе не меньше, чем к напарнику. – Голоса не настоящие. Это не твой дед. Оно... оно как пиявка. Питается этим страхом... этой болью. Оно хочет, чтобы мы сами открыли ему дверь и впустили внутрь навсегда. Не дай ему!

Но с каждым мгновением удерживать хрупкий бастион рассудка становилось все труднее. Граница между прошлым и настоящим, между «Голубкой» и «Марией до Мар» истончилась до предела и начала беспощадно рваться. Мигелю уже не просто казалось, а он буквально чувствовал, как прочная, знакомая палуба под его ногами меняется. Древесина становилась другой: старой, шершавой, скользкой от соленой пены и... чьей-то крови. Вместо ровного гула двигателя его уши, проваливаясь во временную воронку, начали наполнять оглушительные звуки того шторма: яростный рев ветра, треск ломающихся мачт, леденящие душу крики команды, тонущие в неистовом реве стихии.

Он инстинктивно зажмурился, пытаясь отгородиться, но это лишь позволило внутреннему зрению обрести еще более чудовищную четкость. Перед ним, словно выжженное на сетчатке, вновь возникло лицо отца. Но теперь не как образ из памяти, а как галлюцинация такой силы, что затмевала саму реальность. Он видел каждую морщину страха вокруг его глаз, каждую каплю воды на лице. И он снова видел его руку, ту самую, могучую руку капитана, безнадежно протянутую сквозь стену бушующей воды. И вновь, с той же пронзительной болью, почувствовал, как ледяная пустота вечности врывается между их почти соприкоснувшимися пальцами. Та самая вечность, в которой он застрял на пятьдесят шесть лет.

– Я не мог! – мысленно, из последних сил, закричал он в ответ призраку, в чьих глазах застыл вечный укор. – Я тогда был всего лишь маленьким мальчиком!

Это была не просьба, а отчаянная попытка оправдаться, но не перед призраком отца, а перед самим собой. Перед тем мальчиком, который навсегда застрял в каюте тонущего судна.

В этот момент, сквозь нарастающий хаос, вой ветра из прошлого и шепот демонов в настоящем, до него донеслась единственная якорная цепь его жизни. Но не гневные упреки и не мольбы о спасении, а слова отца, сказанные ему не в день шторма, а намного раньше, во время одного из их первых, безмятежных плаваний. Капитан Руй тогда стоял у штурвала, крепкий, будто скала, и спокойно говорил, глядя на приближающуюся полосу штиля: *«Помни, Мигель, океан не любит слабых духом. Он испытывает не тело, а сердце. Волны могут перевернуть корабль, но только твой собственный страх может перевернуть разум. Держи штурвал своей воли крепче, чем настоящий»*.

Эта мысль, забытая на десятилетия, пронесшаяся сквозь годы словно спасательный круг, ударила его с силой шаровой молнии. Она не просто вернула его к реальности, а буквально восстановила его самого. Он был не просто мальчиком в каюте. Он был сыном капитана Руя. И его отец всегда учил никогда не бояться.

Дыхание Мигеля вырвалось из груди резким, почти болезненным выдохом. Внутренний вопль стих. Призрачный образ отца на миг дрогнул и померк. Это была всего лишь передышка, хрупкая и ненадежная. Но в этот миг ее хватило, чтобы он вновь почувствовал под ногами палубу «Голубки», а не «Марии до Мар», и увидел перед собой не призрака, а бледное, искаженное страхом лицо Тьяго. Хватило, чтобы понять: эта битва еще не проиграна.

– Тьяго! – крикнул он, и его голос, еще минуту назад хриплый от ужаса, прозвучал с новой, стальной силой, которая рассекала душную пелену безумия. Озарение снизошло подобно вспышке маяка в кромешной тьме. – Оно боится! Оно атакует наши слабости, наши раны, потому что не может взять силой то, что цело и сильно! Оно лишь паразит, Тьяго! Трус, который прячется в наших головах! Оно не твой дед и не мой отец! Оно – жалкая подделка!

Тьяго, бледный словно полотно, с трясущимися от перенапряжения руками, не моргая смотрел на него. В его глазах, полыхавших отражением бездны, мелькнула искра, но не надежды, а яростного и цепкого инстинкта выживания. Он сделал глубокий, судорожный вдох, будто пытаясь втянуть в себя не воздух, а саму реальность, чтобы отогнать наваждение.

– Тогда... – его голос был хриплым, но уже более твердым, – что мы можем сделать? Чем сражаться с тенью?

– Мы должны... вспомнить, – страстно произнес Мигель, его разум, уже очищенный от паники, лихорадочно искал точку опоры. – Вспомнить что-то настоящее. Что-то сильное, что принадлежит только нам. Оно питается болью и страхом. Значит, мы должны вспомнить то, что не имеет к ним отношения! То, что оно не может переварить! Давай... давай найдем в памяти то, что сильнее его!

Он посмотрел на Тьяго, и в его взгляде горел вызов, но не призраку, а тому мальчику в каюте, который всю жизнь боялся.

– Я начну. Я вспоминаю... я вспоминаю, как мы с отцом в тот самый день, перед выходом, завтракали. Мама испекла миндальное печенье. Оно было теплым. А за окном светило солнце, и чайки кричали так, будто ничего плохого не может случиться никогда. Вот это – правда. А все остальное – ложь, которую оно нам продает! Теперь ты! Вспомни! Быстро!

Они стояли спиной к спине, двое последних людей, затерянных в саване из собственных кошмаров. Туман, некогда бывший просто пеленой, теперь питался их самыми темными воспоминаниями, выворачивая наружу старые шрамы и насылая на них демонов, знающих их уязвимости лучше них самих. До этого момента они проигрывали битву, отступая вглубь себя, сдавая позицию за позицией под натиском персонифицированного страха.

Но сейчас, в самом сердце тьмы, у них родился план. Отчаянный, хрупкий, словно первый лед, но все же план. Они должны были стать археологами собственных душ, отыскать в заваленных пеплом страха руинах памяти островки света: те яркие, нетленные воспоминания, что еще не были осквернены и поглощены тенью «Голландца». Эти воспоминания должны стать их щитом и якорем.

Они знали, что балансируют на острие бритвы. Каждое новое видение, каждый шепот из прошлого мог стать тем самым, последним грузом, что окончательно сломит хрупкий каркас их воли. Одна уступка, один миг слабости – и белая, беззвучная вечность сомкнется над ними навсегда, а их души станут вечной пищей для этого ненасытного **Нечто**.

Битва за «Голубку» была уже проиграна. Битва с волнами и ветром перестала быть актуальной. Теперь начиналось самое главное сражение – битва за рассудок. И ставкой в ней была не жизнь, а нечто большее: их душа, их «я», все то, что делало их людьми.

Глава 8. Якорь в прошлом

Битва шла не на палубе, а в самых глубинах их сознания, и выматывала она не мышцы, а самую суть, душу. Физически они почти не двигались, застыв спиной к спине в немой, отчаянной поддержке, но их тела были обмякшими и истощенными, будто после многочасового марафона. Лица заливала не испарина, а ледяной, липкий пот, проступавший несмотря на пронизывающий холод тумана. Пот отчаяния и невыносимого психического напряжения.

Воздух по-прежнему был беззвучной, давящей губкой, впитывавшей каждый звук и оставлявшей после себя лишь оглушительный, высокочастотный гул в ушах: звон напряженной тишины. И сквозь этот гул, будто иглы, пробивались тихие шепотки призраков, звучавшие отнюдь не снаружи, а прямо в их разуме, сливаясь с мыслями в пугающе чудовищный хор.

Каждый вдох давался с усилием, будто легкие наполнялись не кислородом, а тяжелым, удушающим наркотиком безысходности. Они стояли как два маленьких островка разума в бушующем океане безумия, и с каждым мгновением они становились все меньше и хрупче.

Тяго находился на самой грани, там, где рассудок истончается до прозрачности и вот-вот порвется. Видение деда – не призрачное наваждение, а четкий, ядовитый образ – глубоко впивалось в его сознание стальными когтями вины. Слова «*Последний из Кардозу... и ты похоришь наше имя здесь...*» звучали вовсе не как шепот, а оглушительный набат внутри его черепа, заглушая все остальные мысли, превращаясь в навязчивую, уничтожающую мантру провала. Это не просто страх смерти; это невообразимый ужас – понимать, что ты последний.

Его пальцы судорожно впились в холодный леер, сжимая его с такой силой, что дрожь пронеслась по всей руке. Костяшки побелели, будто выточенные из мрамора. Дыхание стало прерывистым и поверхностным. Взгляд, затуманенный ужасом, был прикован не к палубе под ногами, а к бездонной зияющей пустоте. Казалось, еще мгновение – и он отпустит хватку, сделает последний шаг, но не в ту бездну, что под ногами, а в ту, что внутри него. Навстречу небытию, которое так настойчиво звало его, суля конец этой невыносимой пытке.

– Я... не могу... – просипел Тяго, и его голос, хриплый, почти нечеловеческий, был полон слез и битого стекла. Взгляд – пустой и обращенный внутрь, к тому безмолвному призыву бездны, что становился все невыносимее. Его пальцы начали медленно, почти против воли, разжиматься на леере.

– Держись! – рычал Мигель сквозь стиснутые зубы, и в его голосе не было четкой команды, только отчаянная и яростная мольба. Он и сам-то едва стоял, атакуемый призраком отца, чье молчаливое обвинение, застывшее в глазах, было в тысячу раз страшнее обычного человеческого крика. Он чувствовал, что его собственная воля тает, словно тонкий лед на солнце, под тяжестью этого взгляда. Но в то же время он видел, как Тяго стремительно сдает позиции. – Вспомни что-нибудь... настоящее! Не его! Твое!

Мигель из последних сил пытался пробиться к сознанию товарища, зная, что если Тяго падет, то и его собственное сопротивление тут же рухнет. И в тот самый момент они оба будут навсегда потеряны.

С трудом, сквозь ядовитый, удушающий туман отчаяния, Тяго все-таки нашел его. Пусть и не сразу, не как яркую вспышку, а словно медленно проступающее изображение на давно забытой фотографии.

Сначала было лишь смутное ощущение: приятное тепло на коже. Не обжигающий жар солнца, а живое тепло человеческой руки. Большая, грубая, испещренная морщинами и старыми шрамами от лесок и канатов рука. Она лежала поверх его маленькой, детской ладони, сжимающей удочку, и своим весом, своим теплом передавала ему не силу, а уверенность.

Потом пришел и запах. Но не едкой морской соли и страха, а хрустящей, золотистой корочки свежего хлеба, который бабушка только что достала из печи. И еще один: сладковатый, древесный дымок от вечернего костра на берегу, приятно пахнущий смолой и уютом.

И вот наконец, прорвавшись сквозь оглушительную тишину, явился звук. Не ядовитый шепот проклятия, а низкий, спокойный и убаюкивающий голос его деда, Луиша. Не этого искаженного деда-призрака из тумана, а того, настоящего. Чьи глаза смеялись, а в голосе жила вся мудрость Атлантики.

«Смотри, Тьяго, – говорил голос, и он звучал так ясно и чисто, будто кто-то позвонил в хрустальный колокольчик в сердце гробовой тишины. – Рыбачить – это не просто ловить рыбу. Это как разговор. Тихий, долгий разговор с океаном. Ты должен почувствовать его дыхание в колебании лески, понять его ритм по биению волны о борт. Он может быть грозным, да. Но он никогда не бывает злым. Он просто... есть. Великий и древний. И мы, Кардозу, не покоряем его. Мы учимся быть его частью. Уважать. Быть не врагом, а... гостем. Мудрым и благодарным гостем».

Это воспоминание стало не просто картинкой из прошлого, случайно выхваченной для спасения. Оно оказалось якорем, впившимся в самое дно его души. Та самая нерушимая правда, против которой любая ложь тумана разбивалась, будто маленькая лодка, гонимая волнами на скалы.

Воспоминание обрушилось на него не просто образом, а целой вселенной: волной живого, солнечного тепла и чистого, незамутненного света. Больше он уже не стоял на зыбкой палубе над бездной. Он снова стал тем семилетним мальчишкой с босыми ногами на теплом песчаном берегу, в уютной, безопасной бухте, где дед учил его не бояться океана, а уважать. Где он чувствовал себя не *«последним из Кардозу»*, обреченным на гибель, а достойным продолжателем многовековой традиции людей, живущих в диалоге с этой великой стихией.

Это воспоминание нельзя было назвать громким или героическим. Так же в нем не нашлось места для бурь и подвигов. Оно было тихим, мирным и оттого безмерно сильным. Силой утренней зари, первого удачного заброса и молчаливого понимания между дедом и внуком. Оно стало его личным, нерушимым якорем.

– Дед... – выдохнул Тьяго, и в его голосе, еще недавно полном надрыва, впервые зазвучала не трещина, а устойчивая опора. Твердая, как гранит. Он обернулся к Мигелю, и в его глазах, наконец, появилась не мутная паника, а чистая ясность. – Он... учил меня рыбачить. На берегу. Но не для добычи, а для... понимания. Говорил, что океан нам не враг. Он... как большой, старый, мудрый зверь. С ним всегда можно договориться. Нужно только знать, как слушать.

Эти простые, земные слова, произнесенные вслух в самом сердце безумия, стали его заклинанием. Не громким и пафосным, а тихим и пронзительным, словно молитва. И оно подействовало. Давящая, удушающая тяжесть тумана немного отступила, будто отшатнувшись от чего-то настоящего. Чего-то, что она никак не могла переварить. Призрачный образ осуждающего деда померк, а его ядовитый шепот растворился в чистом свете и тепле того дня на берегу.

Их диалог больше не был обменом отчаяния и криками тонущих. Он превратился в настоящий ритуал сопротивления. В паутину, что они плели друг для друга из прочных нитей своих светлых воспоминаний, дабы удержаться над пропастью.

– Мой отец... – начал Мигель, цепляясь за проблеск ясности, как за спасательный круг, что подарил ему Тьяго. Голос все еще дрожал, но в нем уже появилась струна твердости. – Он говорил, что волны могут перевернуть корабль. Но только твой собственный страх... только он может перевернуть разум. Не океан. А твой страх.

– А мой дед... – откликнулся Тьяго, и его спина, до этого сторбленная под грузом вины, выпрямилась. Он говорил уже не только Мигелю, но и самому себе, утверждая найденную

истину. – Он говорил, что океан просто есть. Как земля, небо. Он не злой и не добрый. Он... просто есть. И наша задача – не победить его, а понять, как же нам существовать рядом. С уважением.

Они стояли вместе, спина к спине, и эти два простых откровения, переплетаясь, создавали вокруг хрупкое, но реальное силовое поле. Они больше не были жертвами, атакуемыми своими кошмарами. Теперь они стали двумя людьми, которые, теряя все, нашли то единственное, что имело цену: истину, способную противостоять лжи. И эта истина звучала словно эхо голосов их близких, доносящееся сквозь время.

Они перестали пытаться анализировать, было ли происходящее иллюзией или древним существом. Это больше не имело никакого значения. Потому что суть не в природе врага, а в том, что он был намерен отнять у них: память, сущность, все, что делало их людьми.

И теперь они нашли свое оружие. Хрупкое, словно хрусталь, и в то же время – несокрушимое, как граненый алмаз. Они просто вспоминали. Вслух. Наперекор. Перебивая ядовитый шепот тьмы таким тихим, но в то же время несгибаемым голосом света.

– Мой первый поцелуй... – голос Мигеля, тихий и пронзительный, резал тишину. – За школьным сараем. Пахло дождем и яблоками...

– Я сдал экзамен на шкипера... – подхватил Тьяго, и в его словах слышалось давно забытое упрямое достоинство. – Дед молча положил руку мне на плечо. И кивнул. Всего один раз.

– Запах вишневого пирога... который пекла моя мама... – продолжал Мигель, закрывая глаза, чтобы ярче видеть воспоминание.

– Звук гитары у костра... и как все пели хором... – вторил ему Тьяго.

Каждое такое воспоминание, простое и личное, становилось крошечным, но одновременно яростным огоньком, который они уверенно зажигали в сгущающейся тьме. Это не были громкие победы или великие свершения. А самые обыкновенные крупички жизни, ее соль и сахар. И с каждой такой крупичкой, с каждым зажженным огоньком, они отвоевывали у безумия сантиметр за сантиметром свои собственные души. Они не прогоняли тьму, а просто наполняли ее светом. И этот свет, сотканный из запаха пирога, звука гитары и молчаливого отцовского кивка, оказался тем, против чего у бездны не нашлось ответа.

Но цена этого спасения оказалась неизмеримо высока. Они не просто устали, а буквально были истощены до самой глубины, до дна своей сущности, будто не часы, а целые годы жизни вытянули из них за это время жутким насосом. Мышцы дрожали от перенапряжения, но куда страшнее стала дрожь в душе. Лица посерели и обвисли, став масками измождения, под глазами залегли темные, как синяки, тени. А в глазах стояла пустота, но не спокойная, а выжженная. Пустота людей, заглянувших в самое сердце бездны и едва сумевших отшатнуться, унеся с собой ее отражение.

Они уже заплатили за свой рассудок непомерный выкуп. И валютой стали кусочки их душ. Дабы отгородиться от тьмы, им пришлось выставить напоказ, сделав оружием свои самые светлые, сокровенные и потому очень уязвимые воспоминания. Но именно эти воспоминания, подобно щитам, приняли на себя удары тьмы, и теперь на них остались шрамы: тонкая, почти невидимая паутина трещин. Радость первого поцелуя теперь навсегда будет отдавать эхом того шепота, что упрямо пытался его заглушить. Гордость в глазах деда навсегда смешана с горьким привкусом леденящего страха.

Да, они отстояли свой разум, но их прошлое, их чистая ностальгия, была безвозвратно осквернена. Им удалось выжить, но часть их внутреннего мира навсегда принесена в жертву этой безмолвной битве.

И все-таки они выстояли. Не отразили атаку, не победили, а просто выстояли, словно два древних дуба, устоявших против сильного урагана, пусть и с обломанными ветвями и вывернутыми до самых корней душами.

Туман все еще продолжал висеть вокруг них, густой, молочно-белый и по-прежнему беззвучный. Непроницаемый барьер, отрезавший их от всего мира. Угроза еще не миновала. Атака, более изощренная и яростная, могла возобновиться в любую минуту, едва их хрупкая и тонкая защита дрогнет.

Но теперь они точно знали. Им все же удалось отыскать ахиллесову пяту Левиафана. Чудовище, питавшееся страхом и отчаянием, оказалось бессильным перед самой простой, немудреной человеческой радостью. Оно не могло переварить тепло первого поцелуя, гордость за сданный экзамен, уютный запах домашней выпечки. Именно поэтому эти воспоминания и стали не только их щитом, но и мечом.

Они продолжали стоять, два изможденных, поседевших не от лет, а от ужаса, воина. Их одежда была мокрой от пота, руки дрожали, а в глазах плясали отблески только что пережитых кошмаров. Но они все еще не сломлены. Спины, пусть и уставшие, были гордо выпрямлены. Воля, испытанная на прочность, не переломилась, а наоборот, закалилась.

И в этой новой, хрупкой тишине, рожденной не отсутствием звука, а их молчаливой и сплоченной решимостью, они ждали. Ждали следующего шага призрака, вглядываясь в неподвижную пелену. А может, они уже и сами готовились сделать свой. Ведь из жертв они теперь превратились в бойцов. И битва была еще очень далека от завершения.

Глава 9. Эхо в штиле

Время внутри тумана текло совсем иначе, подчиняясь не привычным земным законам, а какой-то извращенной логике кошмара. Оно не измерялось движением солнца или монотонным тиканьем часов. Все эти понятия потеряли всякий смысл еще где-то на пороге этой белой пустоты. Время здесь истончалось, превращаясь в бесконечное, мучительное сейчас, где каждый вздох казался вечностью. А затем внезапно растягивалось, как резиновая лента, когда прошлое и будущее сливались в одну сплошную, безвременную пытку, пока сама концепция длительности не растворялась в полнейшем абсурде.

Для Мигеля и Тьяго прошли не часы, а целые вечности, каждая из которых проведена в окопах собственной психики под непрерывным обстрелом воспоминаний-снарядов. Их физические силы были уже на исходе. Ноги стали ватными и нечувствительными, колени подкашивались с каждым биением сердца, посылая в мозг немые сигналы тревоги: требование сдаться, упасть и прекратить это безумие. Но они по-прежнему продолжали стоять.

Два изможденных скелета, почти лишенные плоти и чувств, все еще держались на одной лишь голой силе воли. Их спины, прижатые друг к другу, были не просто точкой опоры, а буквально стали последним бастионом, который они упрямо отказывались сдавать. Теперь это был уже не какой-то там обычный союз двух людей, а слияние двух половинок одного сопротивляющегося целого, где слабость одного тут же компенсировалась упрямством другого. Они были похожи на два обгоревших столба, продолжающих поддерживать рушащийся свод, уже не зная зачем, но помня только одно: что не могут упасть.

Их мир, который казался вечным и абсолютным, сейчас сжался до размеров зыбкой палубы «Голубки», утопающей в безмолвной, молочно-белой пустоте. Они уже практически смирились с тем, что это их единственная существующая реальность, а также вечная тюрьма и саркофаг. Как вдруг резкий, пронзительный звук разрезал эту реальность, как нож, вспарывающий плотную ткань.

Гудок.

Это определенно был не призрачный скрип старого дерева, не тихий шепот из прошлого и уж точно не эхо их собственных мыслей. А оглушительно материальный, грубый, басовитый рев дизельного горна большого рыбацкого сейнера²⁷, судна с кошельковым неводом²⁸. Звук был настолько плотным, но в то же время таким чуждым и грубым вторжением из мира живых в их загробную реальность, что он физически, болезненно ударил по барабанным перепонкам, заставив обоих мужчин вздрогнуть и инстинктивно вжать головы в плечи.

И тут, как по волшебству, не поддающемуся законам их кошмара, туман дрогнул.

Но это не было медленным рассеиванием. А больше походило на то, что полотно, до предела натянутое перед лицом, вдруг кто-то резко дернул за край. Молочная пелена на мгновение потеряла свою плотность, заплескались волны, и сквозь нее, прозрачно и неясно, на какое-то мгновение проступили смутные очертания: темный, мощный борт большого судна и огоньки его ходовых огней, такие реальные, что невольно слезились глаза.

Он не рассеялся постепенно, словно утренняя дымка, а буквально лопнул, как гигантский, натянутый до предела мыльный пузырь, который не может уже больше вмещать в себя иллюзию. Один миг: давящая, беззвучная белизна, впитывающая в себя свет и звук. Следую-

²⁷ **Сейнер** (от англ. *seiner*, от (*purse*) *seine* – кошельковый невод) – это рыболовное судно, предназначенное для лова рыбы кошельковым неводом (также называется сейной, *seine*) или снюрреводом.

²⁸ **Кошельковый невод** (англ. *purse seine*) – это специальное отцеживающее орудие лова для промышленного рыболовства. Свое название он получил из-за принципа работы: при стягивании нижней части сети образуется «кошелек» (мешок), в котором остается рыба.

щий миг: их буквально вышвырнуло в ослепительный, резкий, почти агрессивный солнечный свет, заставивший зажмуриться и застонать от боли в глазах.

Небо над головой было ясным, безмятежно-голубым и пугающе обычным. Океан вокруг дышал ровно и спокойно, его поверхность отливала маслянистым, почти ленивым блеском под полуденным солнцем. Никакой свинцовой тяжести или зловещей тишины.

В сотне метров от них, разрезая эту идиллическую гладь, проплывало рыбацкое судно. Оно было самым обыкновенным, потрепанным жизнью суденышком: ржавые борта, запах рыбы и солярки, доносящийся даже на таком расстоянии. С него и прозвучал тот самый спасительный гудок. На палубе стояли загорелые, небритые рыбаки в промасленных куртках. Они что-то кричали, размахивая руками, их голоса сливались в неразборчивый, но такой живой и земной шум. Кричали ли они с предупреждением, спрашивали, не нужна ли помощь, или просто здоровались – все это было неважно. Главное – сам факт их существования, этой грубой и простой реальности, стал самым сильным заклинанием против призраков.

После вечности, проведенной в аду собственного разума, такой банальный, пахнущий рыбой мир казался самым прекрасным и невероятным чудом.

Шок от резкой, почти насильственной смены декораций оказался ошеломляющим, будто удар об ледяную воду с огромной высоты. Сознание, сжавшееся в комок за время плена в белом кошмаре, банально не успевало перестроиться. Мигель сделал неуверенный, шаткий шаг вперед, и его рука инстинктивно, с отчаянной надеждой, нащупала шершавую, облупившуюся поверхность леера.

Она была реальной. Не призрачно-холодной, а шершавой и, о чудо, теплой от живого, настоящего солнца, которое щедро лилось с неба. Такое простое тактильное ощущение, как шероховатость краски и тепло дерева, буквально ударило в мозг с силой откровения.

Он сделал глубокий, судорожный вдох, словно дышал впервые в жизни. Воздух сразу же обжег легкие своей свежестью. Чистый и полный жизни: он пах солью, йодом, водорослями и просто океаном. Тем самым, что знаком с детства, а не тем, что пах гниющими чернилами и мокрым камнем склепа. В нем не было ни сладковатой гнили тлена, ни едкой, металлической примеси страха.

Этот глоток обычного океанского воздуха оказался самым вкусным в его жизни. Он стал глотком свободы, доказательством того, что они смогли выбраться. Мир, который они знали, все еще существовал. А они были все еще живы.

– Это... это конец? – прошептал Тьяго, голос его был слабым и хриплым, будто его пропустили через мелкую терку. Лицо мертвенно-бледное, а под глазами залегла густая, фиолетовая тень, казалось, что его за несколько часов состарили на десять лет. Он стоял, слегка раскачиваясь, и выглядел так, будто только что поднялся после долгой, изматывающей болезни, когда кажется, что душа еще не успела до конца вернуться в тело.

Мигель медленно повернул к нему голову. Движение далось ему с трудом, будто кто-то залил в шею свинец.

– Кажется... – его голос сорвался на полуслове, превратившись в хриплый выдох. Он посмотрел на свои руки, вцепившиеся в леер: они мелко и часто дрожали, он никак не мог это остановить. Но то была не леденящая дрожь ужаса, что сотрясала его в тумане, а обычная дрожь колоссального нервного истощения. Та самая пустота после адреналиновой бури, когда все ресурсы души и тела оказываются безжалостно выжжены дотла. Он снова попытался говорить, заставляя себя произносить каждое слово: – Мы... вернулись.

В этих двух простых словах вовсе не было триумфа, а только горькое, выстраданное недомение спасенного, который все еще не верит в свое спасение и не понимает, какую же цену за него пришлось заплатить.

Облегчение, нахлынувшее на них, оказалось вовсе не радостным и освобождающим. Оно стало тяжелым и густым, как расплавленный свинец, заливавшим изнутри и пригвождающим

к месту. Они не ликовали и не хлопали друг друга по плечу. Просто стояли, безмолвные и остекленевшие, пытаясь заставить свои легкие дышать ровно, а сердце стучать в привычном, человеческом ритме, а не бешено колотиться в горле от ужаса.

Да, они выжили. Факт был очевиден. Солнце, ветер, уходящий вдаль сейнер – буквально все кричало им об этом. Но вот ощущение такое, словно их вырвали из плоти одного мира, законы которого они, вопреки всему, успели изучить, и с невероятной жестокостью втиснули в другой, чужой и непонятный. И этот привычный мир неожиданно оказался чуждым: ослепительно ярким, оглушительно громким и чрезмерно быстрым. Они ощутимо отстали от его ритма, и теперь каждый вздох, каждый лучик света давался с колоссальным усилием, будто их души все еще были там, в белой, беззвучной вечности, и не успели за резким поворотом реальности.

– Что это было, Мигель? – Тьяго тяжело опустился на ящик для снастей, словно его ноги внезапно превратились в вату. Все силы и ресурсы, мобилизованные для борьбы, окончательно покинули его, оставив только дрожь в коленях и пустоту под ложечкой. – Галлюцинация? Коллективный психоз из-за... магнитной аномалии, выброса газа со дна?

Мигель медленно, с трудом покачал головой. Его взгляд, остекленевший и уставший, блуждал по линии горизонта, где легкая дымка отмечала путь ушедшего сейнера: их спасителя и одновременно вестника из мира, что сейчас казался пугающе нереальным.

– Слишком... одинаковый для галлюцинаций, – проговорил он, подбирая слова с усилием. – В психозе каждый видит свое. А это... был общий кошмар. Слишком... целенаправленный. Оно не просто пугало, а точно знало наши слабые места. Оно било прямо в цель. И говорило... их голосами. – Его собственный голос дрогнул на последних словах.

– Значит, существо? – в голосе Тьяго прозвучала не надежда, а отчаянная, почти детская жажда простого, осязаемого объяснения. Что-то, что можно понять и с чем можно сразиться. – Дух? Призрак Каньона?

– Не знаю, – честно и без тени ученого высокомерия ответил Мигель. Он наконец перевел взгляд на Тьяго, и в его глазах читалась новая, трезвая, а оттого еще более пугающая уверенность. – Может, это и есть сам «Летучий Голландец». Не корабль-призрак, а то, что за ним стоит. Не форма, а... сущность. Паразит, живущий в этой аномалии, в самой геометрии этого места. Древний охотник. Только добыча у него не тела... а память. Боль. Душа.

Они замолчали. Гулкая тишина, наступившая после ухода сейнера, теперь стала иной: не той враждебной, а тяжелой и многословной. Оба отлично понимали, что не нашли ответов, которые искали. Им не удалось разгадать загадку Назарского каньона. Они лишь сумели вырваться из его пасти, успев мельком, в предсмертных судорогах сознания, разглядеть цвет зубов, но так и не поняв, что же это за зверь.

Оба оставили в той белизне, в том беззвучном аду, частичку себя. Но не физическую, а куда более ценную. Они оставили там свою наивность, ту прежнюю, почти детскую веру в простые легенды о парусниках-призраках и проклятых капитанах. Теперь все это оказалось лишь ширмой, уютной сказкой, прикрывавшей жестокую и пугающую правду.

Они столкнулись с чем-то бесконечно более древним, безликим и чудовищным. Не с призраком человека, а с призраком самой пустоты, с хищником, пожирающим не плоть, а сам свет души. И теперь им предстояло продолжить жить с этим знанием. Вернуться в мир, где светит солнце и пахнет океаном, с осознанием того, что в крошечной тьме под их ногами обитает нечто, для чего самые сокровенные человеческие муки – не более чем обычная пища.

Бездна также, в свою очередь, оставила в них свой след. Не шрам, а нечто более глубокое и невыразимое. Тишину. Но не ту мирную, которую они знали, а ту, что наступает после оглушительного взрыва: звенящую, пустую, в которой навсегда выжжены столь привычные звуки души. Глубокую, зияющую пустоту после бури, где раньше бились страх, надежда и даже сама одержимость.

Да, они были спасены, но не исцелены. Скорее, их выписали с поля боя с неизлечимой болезнью. Они смогли вернуться в реальный мир, дышали его воздухом, чувствовали солнце на коже, но часть их сознания, тот самый чуткий и бдительный дозорный, навсегда осталась в той беззвучной белизне. Она стояла, не мигая, на самом краю, у тончайшей границы безумия, и вглядывалась в туман, зная, что он никуда не делся. Он просто ждет своего часа.

Мигель медленно перевел взгляд на такой спокойный и безмятежно простирающийся до горизонта океан. Впервые за всю свою долгую жизнь он не видел в нем ни мучителя, забравшего отца, ни соблазнителя, манившего тайнами. Он видел только маску. Идеальную, прекрасную в своем вечном движении маску, сотканную из солнечных бликов и шепота волн. Она скрывала то, что он невольно познал: непостижимую, древнюю и абсолютно безразличную ко всему живому пустоту. Океан не был ни добрым, ни злым. Он оказался обычной дверью. И теперь Мигель знал, что именно притаилось за ней.

– Нам нужно возвращаться, – тихо, без выражения, сказал Тьяго, его взгляд был прикован к собственным рукам, которые все еще мелко и предательски дрожали, будто отзываясь на ледяной холод, которого уже не было.

– Да, – голос Мигеля прозвучал глухо, словно стук по пустому стволу дерева. Он соглашался, но оба понимали, что это будет не возвращение домой, а самая обычная эвакуация с поля боя.

Они везли с собой не разгадку секрета и не триумф исследователя. Оба несли в своих душах, будто какую-то заразу, новую, гораздо более страшную и безмолвную тайну. И Мигель отдавал себе в этом отчет. Его охота, которой он посвятил всю свою жизнь, так и не закончилась. Наоборот, она только сейчас началась по-настоящему.

Раньше он охотился за призраком, тем самым романтическим проклятием в образе корабля. Теперь же он осознал свою истинную цель. Он охотился за пониманием. За знанием о той силе, что может сломать человека, не оставив на его теле ни единой царапины. Которая может стереть личность, как волны смывают рисунок с песка, используя против него его же самые дорогие воспоминания.

И эта охота была куда опаснее. Потому что теперь он знал, что пуля здесь бессильна. А добыча, за которой он шел, могла в любой момент вновь стать охотником, но уже зная вкус его страха.

Глава 10. Тихие гости

Возвращение домой совсем не было похоже на триумфальное прибытие, оно скорее походило на новый, изощренный вид изгнания. Стены известкового домика в Назаре, всегда бывшие его последней, нерушимой крепостью, теперь казались хлипкими картонными декорациями, которые могли рухнуть в любой момент. Один сильный порыв ветра с океана – и вот они уже разорванные в клочья летают вокруг него. Пыльный, пропитанный запахом старой бумаги и морской соли воздух его хранилища, прежде всегда такой родной и настраивающий на рабочий лад, теперь беспощадно давил на грудь. Он пах уже не историей, а тленом: пылью давно забытых могил и выцветших от времени надежд.

Следующие несколько дней Мигель не жил, а существовал, напоминая лунатика. Он стал призраком в собственном доме. Тело автоматически выполняло привычные ритуалы: он перемещался по комнатам, кипятил воду для чая, раскладывал бумаги на столе. Но вот его сознание, сама суть его «я», все еще оставалось там, на краю каньона, запертое в той белой тишине. Он брал в руки перо, пытался вести записи, фиксировать пережитое, пока не стерлись детали. Но буквы на бумаге расплывались и искривлялись, превращаясь в те самые зловещие завитки тумана на глянцевой, черной воде, а шелест страницы отдавался в ушах леденящим шепотом. Физически он вроде как был дома, но в то же время каждый угол, каждая вещь напоминала ему, что настоящий дом не здесь, а там: в месте, где его разум столкнулся с бездной, и часть его навсегда осталась в ней.

Но хуже всего становилось с наступлением темноты. Ночь приносила сновидения, но не те, что позволяют отдохнуть, а другие, новые, похожие на изощренные пытки. Во сне он вновь стоял на палубе «Голубки», но в этот раз сквозь молочную, беззвучную пелену к нему тянулись не одна, а уже три руки. Призраки его бывших жизней. Первая – изящная, с длинными, холодными пальцами пианистки, чью музыку он когда-то безумно любил. Вторая – украшенная забытым когда-то серебряным браслетом, который он подарил ей в день их помолвки. Третья... третья была той, что он узнал бы даже с закрытыми глазами, в полной тьме, по одному лишь прикосновению. Та, что ушла, забрав с собой последние обломки его разбитого сердца.

Каждый раз он просыпался с одним лишь именем на губах и с телефоном в дрожащей, вспотевшей руке. Экран светился в темноте, словно спасительный маяк. Но пальцы неизменно замирали над клавиатурой, а цифры и буквы начинали плясать, превращаясь в незнакомые, бессмысленные иероглифы. Что он мог сказать? *«Мне снится, что туман пытается забрать тебя, и от этого я просыпаюсь в крике»?* Или: *«Мне жаль, что я был одержим мертвыми, пока рядом были живые, что меня любили»?*

К тому же они не общались вот уже семь лет. Ее жизнь, как и положено любому здоровому человеку, пошла своим чередом: она затянула раны и нашла новые смыслы. Он же остался в ней лишь главой из старой, давно прочитанной и убранный на дальнюю полку книги. Порыв, рожденный банальным животным ужасом и потребностью в утешении, гасился холодным, безжалостным осознанием, что некоторые двери закрываются навсегда. И стучаться в них, даже из глубин самого пугающего кошмара, было бессмысленно и жестоко по отношению к тем, кто сумел-таки обрести покой по ту, другую сторону.

Утро не принесло с собой столь желанного облегчения, а лишь сменило оттенок кошмара. За окном висел густой, мертвенный назарский туман, не рассеивающийся, а впитывающий в себя все краски и звуки городка. И Мигелю, с его воспаленным и не отдышавшим сознанием, показалось, что это не просто погода, а та самая, знакомая до оскомины белизна с каньона. Она преследовала его. Дотянувшись даже сквозь сотни километров, она нашла его убежище и теперь медленно, неотвратимо обволакивала дом, его последний оплот. Воздух в комнате

резко стал густым и тяжелым, им было трудно дышать, будто туман уже просочился сквозь стены и плотно закрытые окна.

И тогда, сквозь эту гнетущую, неестественную тишину, в которой тонули даже звуки просыпающегося города, раздался стук. Не звонок, не легкое постукивание, а глухой, тупой, настойчивый звук, отдающийся в костях. Он был ритмичным и безжалостным, точь-в-точь как удары его собственного сердца, вырвавшиеся наружу и застучавшие в дверь. Это был не просто звук, а послание. И Мигель точно знал, что за дверью стоит совсем не почтальон и вовсе даже не сосед.

Он осторожно открыл дверь. На пороге, сливаясь с серым, безразличным полотном тумана, стоял Тьяго. Но это был не тот молодой парень, что уверенно стоял у штурвала «Голубки», чьи движения были точны, а взгляд предельно ясен, а лишь его жалкая тень, выцветшая фотография. Лицо осунулось, обнажив скулы, кожа приобрела нездоровый, землистый оттенок. Но самое страшное – его глаза. Они были огромными, с расширенными зрачками, и в них, будто в двух бездонных черных колодцах, плескался один и тот же немой, животный ужас, который Мигель видел в последнее время в своем собственном отражении.

Не сказав ни слова, Тьяго шагнул внутрь, проскользнув в щель между дверью и косяком, так и не дождавшись приглашения. Его движения были резкими, угловатыми, казалось, будто он плохо управлял собственным телом. И в тот миг, когда он пересек порог, его плечи сгорбились под невидимой, но ощутимой тяжестью, словно на него внезапно сбросили гору. Он стал живым воплощением их общего кошмара, молчаливым подтверждением того, что они не выдумали ту белизну, и что она до сих пор не отпустила их, а наоборот, последовала за ними, вьевшись в глубины души.

– Он... в водопроводе, – прошептал Тьяго сухим голосом, похожим на шелест опавших осенних листьев. Он не смотрел на Мигеля, его взгляд блуждал по стенам, будто пытаясь увидеть сквозь штукатурку скрытую сеть труб. Его пальцы с побелевшими костяшками впились в виски, казалось, что он пытался физически выдавить оттуда навязчивый звук. – Я слышу, как он течет по трубам. Не вода... а оно. Шепчет. Все те же самые слова...

Мигель совсем не удивился. В каком-то измученном уголке сознания он даже ожидал этого. Его собственный страх нашел отражение в глазах другого человека, и это стало одновременно чем-то ужасающим и... в то же время облегчающим. Он был не одинок в своем безумии.

– Заходи, – голос Мигеля прозвучал хрипло, почти беззвучно. Больше ему нечего было сказать. Не было слов утешения, которые не звучали бы ложью в их новой, искаженной реальности.

Он отступил, пропуская гостя в комнату. Они молча, словно два одиноких призрака, прошли в кабинет: теперь уже общее святилище, ставшее еще и полем боя. Их движения были отточенными и безжизненными, будто они два заговорщика, вернувшиеся с секретной миссии, о которой не мог знать никто в целом мире. Они несли в себе знание, которое стало для них проклятием и единственной правдой, и эта ноша навсегда отделила их от всех остальных.

Пока Мигель возился с чайником на старой, потрескавшейся газовой плитке, пытаясь заглушить гнетущую тишину хоть какими-то бытовыми звуками, Тьяго стоял посреди комнаты, будто вбитый в пол столб. Его взгляд, пустой и отсутствующий, скользил по грудам бумаг и книг, но не видел их, а словно смотрел сквозь них, в какую-то иную, параллельную реальность, где все еще царила белизна тумана.

И вдруг его внимание, будто магнитом, притянулось к одному-единственному предмету. Он лежал на столе не в хаотичном беспорядке, а с неестественной, почти ритуальной аккуратностью, словно его положили туда как центральный экспонат в музее древних проклятий.

Кожаный переплет, когда-то, возможно, прочный, а ныне потертый почти до основания, вобравший в себя запахи соленой воды, пота и времени. Дневник.

Он лежал там, молчаливый и тяжелый, будто черная дыра, затягивающая в себя все происходящее. И в этой тишине, под аккомпанемент закипающей воды, он казался не ключом к загадке, а ее причиной. Сердцевиной беды, вокруг которой так стремительно закрутился весь их кошмар.

Когда Мигель вернулся в кабинет с двумя дымящимися кружками, в воздухе повис густой, горьковатый аромат крепкого чая, но так и не смог перебить незримое напряжение. Он застал Тьяго склонившимся над столом, но не в позе читающего. Это больше походило на некий транс, почти религиозный экстаз. Тьяго не просто смотрел на дневник, он буквально впился в него взглядом, остекленевшим и невидящим, словно утопающий, готовый ухватиться за хрупкую соломинку, прекрасно зная, что она его не спасет.

Его пальцы, мелко и предательски дрожа, лежали на раскрытом форзаце, но не перелистывали страницу. Они просто лежали, впитывая шершавость старой кожи, словно пытаясь через прикосновение вытянуть из переплета ответ, спасение, или хотя бы какое-то подтверждение того, что все пережитое – не плод их общего безумия. В его сгорбленной спине и напряженной шее читалась вся тяжесть отчаяния человека, который вернулся к источнику своей боли, ибо ему больше некуда идти.

– Что это? – голос Тьяго, похожий на беззвучный шепот, едва ли рожденный в голосовых связках, скорее напоминал выдох, сформированный в слова одной лишь силой воли. Он не отрывал взгляда от страницы, словно боялся, что буквы исчезнут, едва он моргнет.

Мигель медленно поставил чашки на стол. Пар от них поднимался, как легкий дымок от несостоявшейся жертвы приношения. Он тяжело опустился в потертое кресло напротив, и старые пружины жалобно скрипнули, нарушая звенящую тишину.

– Запись, которую я не могу разобрать с самого начала, – его голос звучал глухо и слабо. Он провел рукой по лицу, будто пытался стереть с него пелену усталости. – Дата... и, возможно, имя. Самое первое, что зафиксировано. Но капитан... – Мигель сделал паузу, глядя на яростные засечки на бумаге, – зачеркнул ее с такой яростью, что почти порвал бумагу. Как будто пытался уничтожить не просто чернила, а саму память. Вырвать ее с корнем. – В его словах повисло невысказанное: *«Так же, как оно пытается поступить с нами»*.

Мигель вспомнил самую первую ночь, когда он, опьяненный осознанием, что владеет дневником самого Хендрика ван дер Деккена, тщетно пытался разобрать эту запись. Сейчас, глядя на застывшего над страницей Тьяго, он снова ощутил то самое жгучее чувство: смесь азарта и ледящего душу предчувствия.

Его внутренний взор плавно перенесся в ту ночь. Призрачный свет зеленой лампы отбрасывал дрожащий круг на стол, превращая кабинет в подобие кельи алхимика. Он склонился над форзацем, над тем самым, яростно изувеченным клочком истории. В руке его дрожала лупа с серебряной оправой, увеличивая не буквы, а хаос: спутанный клубок чернильных штрихов, взрыв ярости, навеки застывший на бумаге.

– Десять... или шестнадцать? – его шепот был слышен лишь ему самому, голосу не хватало воздуха. Дрожащий палец скользил по зачеркнутым строкам, будто пытаясь на ощупь прочесть выжженную истину. – Апрель? Февраль? Месяц... Боже, они все похожи... А год... 1639... Последняя цифра... похожа на девятку, но эта чернильная клякса... – Он сжал лупу так, что оправа впилась в ладонь. – Будь я проклят, ну кто так замазывает? Это же не пометка, это... казнь какая-то. Он буквально казнил эту несчастную дату.

А ниже, под этим уничтоженным временем, виднелись жалкие остатки имени. Он, словно археолог, копающийся в пыли веков, выписывал обрывки букв на клочке бумаги, составляя и перебирая комбинации, которые упорно не желали складываться хоть во что-то осмысленное.

– «Б» ... или, может, «Д»? Слишком широко для «Б» ... Затем «р» ... потом, кажется, «к» ... и в конце – «е». Б-р-к-е? Д-р-к-е? Бессмыслица какая-то!

Отчаяние накатывало волной. Он откинулся в кресле, перед ним лежал уже не ключ, а пепел. Это все равно что пытаться прочесть письмо, почти полностью сожженное в камине, улавливая смысл по уцелевшим кусочкам с обугленными краями. И тогда он впервые с ужасом подумал, что капитан пытался уничтожить не просто дату и имя. Он пытался стереть самого себя. И, возможно, отчасти даже преуспел в этом.

Тьяго молчал, но его молчание было громче грома. Он замер, вглядываясь в полустертые, переплетающиеся линии чернил, в этот хаотический шрам на бумаге, оставленный яростью, которой почти четыре столетия. Дрожь в его пальцах, до этого мелкая и неконтролируемая, внезапно прекратилась, сменившись неестественной, восковой неподвижностью, до ужаса пугающей в своей идеальной завершенности.

Его рука поднялась, и он начал неосознанно водить кончиком указательного пальца в паре миллиметров от бумаги, едва касаясь ее. Его движения не были хаотичными: он повторял некий видимый лишь ему узор, ритм и форму яростных зачеркиваний, словно его рукой водила чужая мышечная память, о которой он даже не догадывался.

И тогда в потухших и опустошенных глазах вспыхнула, застыв, искра чего-то острого, режущего, болезненного. Это не просто понимание, а узнавание. Точно такое же, какое бывает на лице человека, увидевшего в незнакомце черты давно умершего родственника. Он узнавал не буквы, а почерк безумия. И этот почерк стал до жути знаком.

– Мигель... – наконец выдохнул он, и в его голосе, помимо усталости и страха, прозвучала новая, леденящая душу нота: смесь ошеломления и ужасающей догадки. – Я... я видел похожее раньше.

Мигель замер, будто вкопанный. Фарфоровая чашка, которую он почти поднес к губам, так и застыла в воздухе, всеми позабытая. Пар от чая извивался между ними, словно призрачная нить, связывающая их с этим открытием.

– Где? – его собственный вопрос прозвучал резко, почти как выстрел в гробовой тишине кабинета.

Тьяго медленно, будто против собственной воли, поднял на него взгляд. И в его расширенных зрачках Мигель вновь увидел тот самый бездонный ужас, что пожирал их в сердце тумана. Но теперь он был привязан не к миражу, а к чему-то абсолютно реальному, осязаемому, что безмолвно лежало здесь, на столе, между ними.

– В одной из книг деда, – прошептал он, и каждое слово давалось ему с титаническим усилием, словно он вытаскивал из памяти что-то запретное. – Старая, потрепанная книга по кораблестроению. Он использовал ее как пресс для засушенных листьев... Я находил там вкладки... Эти буквы... и дата... Они были нарисованы на полях. Тот же самый почерк.

Будто в старом немом кино, движение Мигеля замедлилось. Его локоть, ослабленный возрастом, колоссальным напряжением последних дней и простой неловкостью, дрогнул. Чашка с противным, глухим стуком опрокинулась. Горячий, почти черный чай хлынул на стол широкой, темной лужей, безжалостно впитываясь в пористую старую древесину и – о ужас! – в драгоценный кожаный переплет дневника.

Легкомыслие, за которое он мог заплатить всем! Паника, острая и животная, сжала его горло ледяной рукой. «Нет, нет, нет, нет!» – набатом застучало в висках.

Он схватил первый попавшийся под руку платок, старый, льняной, и начал лихорадочно промокать лужу, бормоча бессвязные проклятия и молитвы одновременно. В этот миг он был не ученым, а хирургом на поле боя, отчаянно пытающимся зажать смертельную рану. С величайшей осторожностью, с дрожью в пальцах, он приоткрыл дневник, промокая страницу за страницей, сердце его бешено колотилось, предвосхищая непоправимый ущерб.

Но случилось нечто совершенно иное, что можно назвать лишь одним словом – чудо. Чернила, к его изумлению, не поплыли и не превратились в фиолетовую кашу. Бумага, плотная, дубленая, пережившая не один шторм и века забвения, выдержала даже эту напасть.

И вот, промокая одну из первых, до сих пор пропущенных им чистых страниц, он внезапно замер. Его палец, сжимавший платок, застыл в воздухе. То, что он всегда принимал за пустоту, оказалось обманом зрения, простой игрой света и тени. Влага от чая, впитавшись в бумагу, совершила чудо, проявив то, что было скрыто от его старых глаз.

Призрачный след²⁹. Бледные, элегантные строки, словно проступающие из самого сердца бумаги.

Тяго, все еще погруженный в пучину своих мрачных мыслей, вздрогнул, когда до него донесся прерывистый, хриплый шепот Мигеля. Старик не звал его по имени. Он лишь указал дрожащим пальцем на чуть промокшую страницу, и в его глазах горел шок, смешанный с торжеством.

– Смотри... – стало единственным словом, которое он смог выжать из себя.

²⁹ **Призрачный след** – это слабо видимый, частично стертый или скрытый отпечаток, оставшийся на материале (пергаменте, бумаге) после удаления, соскабливания или переписывания первоначального текста.

Глава 11. Чернила и сердце

Мигель и Тьяго низко склонились над дневником, будто алхимики над тиглем, в котором вот-вот произойдет долгожданное преобразование. Их головы почти соприкасались, отбрасывая на груды бумаг единую, сросшуюся тень, что трепетала в такт мерцанию лампы. Призрачный рельеф на странице, проявленный чайной влагой, с каждой секундой становился все отчетливее. Буквы, невидимые прежде, словно проступали из самой плоти бумаги под двойным напором: тепла их дыхания и влаги, впитанной из пролитого чая.

В комнате повисла особая, густая тишина, полная невысказанного напряжения. Так похожая на пугающее затишье перед мощнейшей бурей столетия.

– Это не чернила, – прошептал Тьяго с благоговейным ужасом. Он провел указательным пальцем над поверхностью страницы, боясь даже мимолетным прикосновением разрушить хрупкое видение, стереть это послание из небытия. – Смотри... здесь нет цвета. Это... следы давления.

Мигель лихорадочно схватил любимую лупу. Его дыхание стало прерывистым и свистящим, как у человека, быстро поднявшегося на слишком большую высоту. Он приник к стеклу, и весь мир сузился до желтоватых волокон бумаги, тонкой паутины трещин и тех самых загадочных бороздок, оставленных невидимым пером. Увеличительное стекло искажало и преломляло свет, превращая страницу в лунный рельеф. Но он все-таки сумел увидеть.

Это был не просто текст дневника и даже не очередная запись о штормах или курсе, а нечто совершенно иное. Совсем другой стиль. Не угловатый, выверенный и педантичный почерк капитана, ведущего судовой журнал. Нет. Он был более мягким, беглым, почти летящим. В нем чувствовалась особая, изящная небрежность, и каждый завиток, каждый росчерк, казалось, был полон безнадежной, сдерживаемой нежности. Не просто слова должностного лица, а настоящее письмо. Личное, сокровенное, возможно даже любовное, врезанное в бумагу с силой, которую не смогли выразить сами слова.

Они работали в полной тишине, с сосредоточенностью реставраторов, восстанавливающих утраченный шедевр по смутным воспоминаниям и чудом уцелевшим фрагментам. Казалось, что и сама комната затаила дыхание, внимая усилиям двух мужчин. Тепло их дыхания, оседающее на странице, и остаточная влага от остывающего чая стали надежными союзниками: старинная бумага, отзывчивая, словно живая кожа, медленно отдавала свои тайны, раскрывая то, что было скрыто веками.

Будто фотография на закрепляющем растворе, буква за буквой, слово за словом, из небытия начало проступать письмо. Не отчет или запись в судовом журнале, а сокровенное послание, обращенное к одному-единственному человеку. Каждая проступившая строчка была подобна тихому голосу, доносящемуся сквозь толщу времени, наполняя комнату эхом давно умолкших эмоций.

«Моя дорогая и единственная Элизабет.

Каждое утро я просыпаюсь с мыслью о тебе, и каждая волна, что бьется о борт «Голландца», шепчет мне твое имя. В ее ритме я слышу стук твоего сердца, а в соленых брызгах, долетающих до моих губ, – вкус твоих слез в день нашей разлуки. Порой, в предрассветные часы, когда горизонт только начинает сереть, мне кажется, что я чувствую тепло твоей руки в своей, хотя понимаю, что нас разделяют тысячи миль.

Я знаю, что мы с тобой связаны не только обещаниями, данными у алтаря, но и чем-то большим: той самой невидимой и нерушимой нитью, что соединяет наши души даже сквозь

самые свирепые моря и бездонные океаны. Она натягивается, когда я думаю о тебе, и я чувствую ее легкое, настойчивое напряжение, как будто ты дергаешь меня за нее.

...Я все еще ношу твой локон, зашитый в мешочек из шелка, прямо у самого сердца. Он лежит там, и его шелковистая прохлада успокаивает меня в бурю лучше, чем любая выученная наизусть молитва. В самые темные ночи, когда ветер воет в снастях, я прикладываю к нему ладонь и чувствую, как касаюсь тебя, обнимаю и вдыхаю аромат твоих волос.

И я день за днем, каждое мгновение, мечтаю о том дне, когда наконец сложу с себя эти капитанские полномочия. Когда в самый последний раз сойду с мостика на твердую землю, чтобы больше никогда не подниматься на борт. Я мечтаю вновь взять твои руки в свои, но не на прощание, а навсегда, чтобы никогда больше не отпускать. Слушать твой звонкий смех, смешанный не с ревом шторма, а с беззаботным криком чаек над гаванью. Видеть, как твои глаза, цвета спокойного, ласкового моря в ясный день, светятся одним лишь счастьем при моем приближении.

Я построил для нас дом в Амстердаме, на самой красивой набережной. Из нашего окна открывается вид на канал, и по утрам в него заглядывает солнце. В саду, совсем еще молодом, растет вишневое дерево. Я сам выбирал саженец, представляя, как мы будем сидеть под его цветущей кроной, а лепестки будут падать нам на плечи, словно снег...

Пока же, в горькой реальности этого плавания, я вверяю эти слова бумаге. Я запечатаю это письмо и буду хранить его с собой, не уверенный, что оно когда-нибудь достигнет твоих рук, но слепо и отчаянно веря, что наша любовь – это та нить Ариадны, что сильнее любого расстояния, сильнее бушующей стихии и, я готов поклясться, сильнее самой смерти...»

Эти слова, наполненные нежностью и надеждой, повисли в воздухе кабинета горьким упреком. Они были написаны человеком, который мечтал о тихом семейном счастье, уютном доме и вишневом дереве. Человеком, что еще не стал пленником проклятия и не начал вычеркивать свое имя из памяти мира.

В этих строках, проступивших из небытия, была не просто тоска, а предсмертная записка той личности, что когда-то звалась любящим мужем, мечтателем и строителем дома с вишневым деревом. Той личности, которую вскоре должно было поглотить и перемолоть проклятие, породив на ее месте бездушного призрака.

Внизу, в самом углу, где обычно ставят подпись, давление пера оказалось особенно сильным, почти яростным, но в этой ярости не было гнева, а всего лишь отчаянное желание навеки впечатать в страницу саму свою сущность, оставить материальное доказательство того, что он был реальным человеком и существовал. Из глубины бумаги, будто сквозь толщу лет и страданий, проступили два инициала, выведенные с элегантностью, уверенностью и нежностью, которые так чудовищно и невыносимо контрастировали с исступленными, разорванными записями на последующих страницах дневника: **Б. Ф.**

Мигель и Тяго медленно, едва ли не против воли, подняли головы и переглянулись. В наступившей тишине можно было услышать, как остывает чай в разлитой луже и бьются их сердца: тяжело и гулко. Эта тишина стала более красноречивой, чем любой крик. Она была полной переоценкой всего, что они знали до этого момента.

Б. Ф. – это не просто капитан-призрак и даже не мифический злодей из матросских баек, проклятый на вечное плавание, а самый настоящий человек. Из плоти и крови. Молодой, пылкий и безумно влюбленный. Человек, который носил у сердца локон возлюбленной, строил планы на будущее, сажал вишневые деревья в саду своего амстердамского дома и с непоколебимой верой писал, что его любовь сильнее самой смерти.

И самое ужасное заключалось в том, что в каком-то смысле он оказался прав. Его любовь пережила его самого. Но не как светлая память, а как вечная, незаживающая рана в самой

реальности, как топливо для того голодного паразита, в которого он превратился. Они смотрели не на легенду. Они смотрели на трагедию.

– Это не просто любовное письмо, – сказал Тьяго. Его голос, тихий и надтреснутый, с трудом пробивался сквозь оцепенение, повисшее в комнате. Он смотрел на проступившие строки не как на исторический артефакт, а как на крик души, застывший во времени. – Это... его якорь. Последняя попытка остаться человеком в этом чудовищном плаваньи. То, за что он цеплялся, когда все остальное уже начало рушиться.

Мигель медленно кивнул, его взгляд был прикован к инициалам, выведенным с такой нежностью.

– ...и то, что он, возможно, так и не успел отправить, – его голос прозвучал глухо, будто доносился из склепа. – Письмо, которое должно было стать символом его возвращения. Обещание, которое он так и не сдержал. – Он поднял глаза на Тьяго, и в них вспыхнуло леденящее, окончательное понимание, переворачивающее всю легенду с ног на голову. – Проклятие «Летучего Голландца» ... Оно не в том, что он не может пристать к берегу. Оно в том, что он не может вернуться к ней. Не к дому, не к Амстердаму, а к той, что ждала его. К Элизабет. Его вечное плавание – это не наказание, а невозможность доставить это письмо. Он не просто так плавает. Он вечно пытается завершить тот последний, самый важный рейс домой, к любви, которую оставил в прошлом. Именно эта попытка и есть его персональный ад.

Оба они понимали, с какой чудовищной находкой только что столкнулись. Это была уже не просто историческая реликвия или личные записи капитана. Они нашли болевую точку всей легенды, самую уязвимую и незаживающую струну в душе того, кто уже успел стать мифом. Этот хрупкий клочок бумаги, пропитанный тоской, стал ключом не только к разгадке проклятия, но и к самому проклятому – тому, что когда-то давно было человеческим сердцем.

Цунами новых, мучительных вопросов обрушилось на них, не имея ответов. Что случилось с Элизабет? Дождалась ли она? Умерла ли с его именем на устах или, отчаявшись, вышла замуж за другого? Почему это письмо и эта клятва вернуться так и не были отправлены? Была ли ее потеря той страшной ценой, которую он в итоге заплатил за свою фатальную одержимость «Вратами» и скоростью? Или, быть может, все было наоборот: именно его отчаянная попытка нарушить данный обет, вернуться к ней любой ценой и привела к тому, что он навлек на себя гнев сил, которые человеку лучше не тревожить?

А самое главное и пугающее: что же это за сила такая, что заставила его взять перо и с такой животной яростью вычеркнуть саму память о себе, своем имени и нежной любви? Что должно было случиться, чтобы человек люто возненавидел и пытался уничтожить все, что делало его человеком?

Мигель медленно отодвинул лупу в сторону. Стекло, искажавшее реальность, перестало быть нужным. Теперь он смотрел прямо на проступившие инициалы «Б.Ф.». И ему казалось, что он смотрит в самое сердце бури, в эпицентр вечного, немого страдания, что вот уже четыре столетия бушует в тумане у Назарского каньона.

Они держали в руках уже не дневник, а исповедь души, разорванной между любовью и безумием, между домом и бездной. Теперь они должны прочесть ее до конца, чтобы понять последний, самый важный вопрос: была ли эта любовь его единственным спасением, маяком, который он в итоге потушил своими собственными руками?.. Или она стала тем самым топором, что навсегда отрубил его от мира живых, превратив в вечного пленника собственного разбитого сердца?

Глава 12. Скрещение путей

– Мигель... – голос Тьяго сорвался, превратившись в хриплый выдох. Он резко отшатнулся от стола, будто от прикосновения раскаленного металла, и его стул с противным скрипом отъехал назад. Его глаза, все еще несущие в себе влажный, белесый отблеск того каньонного тумана, были расширены и полны странной смеси: ошеломления от внезапного воспоминания и ужасающей, как неожиданный удар под дых, догадки. – Я... я вспомнил. Ясно вспомнил, где именно видел этот почерк. Не просто случайные пометки на полях в книге у деда... а сами эти буквы. Этот уникальный способ выводить строчную «к»: с таким яростным, рваным хвостом, как будто пером не писали, а царапали бумагу, пытаясь ее вспороть... Я видел это раньше.

Мигель застыл, обратившись в каменную статую. Дыхание резко застряло в горле. Взгляд, острый, пронзительный и неожиданно безжалостный, устремился на Тьяго, не просто выжидая, а буквально вытягивая из него следующее слово силой воли. Воздух в запыленном кабинете внезапно сгустился, став вязким и тяжелым, будто свинец, в те самые неподвижные и душные мгновения перед тем, как небо разверзается бушующим ураганом.

– Книга твоего деда... – выдохнул Мигель. В его голосе не было вопроса, а лишь леденящее подтверждение собственной догадки. – Та самая, что с засушенными листьями вместо закладок?

Тьяго медленно, будто каждое движение давалось ему огромным усилием, провел ладонью по лицу, смахивая невидимую пелену усталости и, возможно, пытаясь стереть проступающий образ из недр памяти.

– Да, – его голос звучал глухо и безжизненно. – Та самая. В детстве... я любил ее листать. Рассматривать чертежи старых судов, парусов... И там, в разделе о флейтах... кто-то сделал пометки на полях. – Он замолчал, уставившись в пустоту, но видя не кабинет, а пожелтевшие страницы из далекого прошлого. – Такие же... резкие. Рваные. Словно не писали, а практически вырезали ножом. Я тогда, ребенком, подумал, что это кто-то просто злился. Там были буквы... и какая-то дата. Но вся в кляксах... – Он слотнул, и его голос резко сорвался на шепот, – ...как будто ее не просто замазали, а буквально пытались стереть со страницы. Словно это было самым страшным, что только можно было написать.

– Какие именно буквы и дата? – голос Мигеля сорвался на требовательный, практически истеричный шепот. Он уже не слушал, а действовал: его руки лихорадочно мельтешили по столу, сметая аккуратные стопки в хаотические груды, пока пальцы наконец не наткнулись на клочок чистой бумаги и старый, но острый карандаш. – Давай, вспоминай, Тьяго! Каждую черточку!

– Я... точно не помню, – простонал Тьяго, зажмурившись так сильно, что у висков запульсировали венки. Его пальцы впились в кожу, словно он пытался физически вскрыть череп и вытащить глубоко засевший там образ. – Просто врезалось в память, потому что почерк был... неестественный. Злой. Но имя... – он замер, и по его лицу пробежала судорога озарения. – Там было имя капитана. Того самого, о котором ходили легенды. Кто ставил рекорды скорости на пути в Ост-Индию. Фокке? Капитан Фокке? Беренд?.. Нет... Черт подери... Бернард! Бернард Фокке! Он плывал на флейте из Голландии к Яве так быстро, что все думали, будто он продал душу дьяволу. Его корабль так и прозвали – «Летучий» ... «Летучий Фокке» ...

В воздухе, пропитанном пылью и запахом старой бумаги, что-то щелкнуло. Два имени, два призрака: романтический влюбленный «Б.Ф.» и легендарный, почти демонический капитан Фокке внезапно сошлись, слившись в одну, пугающе реальную фигуру.

– Книга, – выдохнул Мигель, и его глаза вспыхнули лихорадочным огнем. – Нам нужна эта книга. Сейчас же.

Будто выпущенная из лука стремительная стрела, Тьяго рванулся с места. Он не просто пошел, а буквально выбежал из кабинета, его шаги гулко и торопливо отдались в прихожей, оставив Мигеля наедине с ошеломляющим открытием и зловещим эхом, которое теперь звучало как услышанное им имя: Бернард Фокке.

Мигель остался один в кабинете. Тишина, опустившаяся после ухода Тьяго, оказалась не пустой, а густой и тяжелой, словно древесная смола. Нарушаемая лишь трескающимся шепотом старого дома: скрип балок, шорох мыши за плинтусом. Но теперь даже эти звуки казались ему голосами, нашептывающими свои истории из прошлого.

Он резко отодвинул от себя дневник ван дер Деккена. Теперь этот кожаный томик стал для него не священным Граалем, а всего лишь одним из фрагментов мозаики, деталью в чудовищном, многовековом пазле. Главным ключом к самому сердцу проклятия стало совсем другое имя, звучное и почти забытое: Бернард Фокке.

Будто опытный охотник, почуявший свежий след добычи, он резко ринулся к стеллажам. Его движения потеряли всякую профессорскую чинность, став резкими, почти яростными. Он сгребал стопки книг, сметая облака вековой пыли, которая взметалась в воздух золотыми призраками в луче лампы. **«Мореплаватели Золотого века Голландии»**, **«Архивы Ост-Индской компании»³⁰: неофициальные хроники**, **«Легенды и мифы Северного моря»** – все летело на стол, образуя хаотический завал знаний.

Его пальцы, привыкшие к нежной, шершавой текстуре старой бумаги, теперь листали страницы с лихорадочной скоростью, не замечая мелких порезов на подушечках. Взгляд, острый и безжалостный, выхватывал из океана текста даты, названия кораблей, фамилии. Он искал заветное имя. Призрачный маяк, что мог вывести его из тумана легенд к берегу ужасающей исторической правды. Каждая страница стала теперь не просто источником информации, а дверью, за которой могла скрываться разгадка того, как человек по имени Бернард Фокке, мечтавший о вишневом дереве в Амстердаме, превратился в вечного страдальца Хендрика ван дер Деккена.

– Фокке... Фокке... Где же ты, дьявол? – бормотал он себе под нос, и это уже не было просто метафорой.

И вот, в потрепанном, буквально истертом до дыр справочнике капитанов VOC его палец, скользивший по мелкому шрифту, вдруг замер. Он нашел его. Неподалеку от скупой, мифической статьи о Хендрике ван дер Деккене находилась краткая, но емкая справка, словно нарочно помещенная туда ироничной рукой судьбы, чтобы их тени вечно соседствовали на пыльных страницах:

«Фокке, Бернард (Bernard Fokke) – капитан Голландской Ост-Индской компании, уроженец Фризии. Прославился своими рекордно быстрыми, почти неестественными переходами на линии Нидерланды – Батавия³¹ (Ява). В 1678 году, командуя флейтом³², преодолел маршрут за невероятные 3 месяца и 4 дня, в то время как обычные, хорошо оснащенные суда тратили на это путешествие около 5 месяцев. Современники, а впоследствии и историки, считали такую скорость невозможной без помощи... потусторонних сил.

Его корабль, безымянный флейт, и его собственное прозвище – «Летающий Фокке» (Vliegende Hollander) – со временем стали считаться одним из ключевых прообразов легенды о «Летучем Голландце». Официально пропал без вести в Атлантическом океане

³⁰ **Голландская Ост-Индская компания** (старо-нидерл. *Verenigde Oostindische Compagnie*, сокращенно VOC, дословно – «Объединенная Ост-Индская компания») – нидерландская торговая компания, крупнейшая и богатейшая частная фирма в истории.

³¹ **Батавия** – историческое название Джакарты, столицы Голландской Ост-Индии.

³² **Флейт** (нидерл. *fluit*) – тип голландского торгового парусного судна XVI–XVIII веков, игравшего ключевую роль в расцвете морской торговли Нидерландов и становлении их как «морской державы» в XVII веке.

при невыясненных обстоятельствах по пути в Европу. Дата последнего предположительного выхода – неизвестна.»

Мигель застыл, намертво вцепившись в края книги. Воздух вырывался из его легких тихим свистом. Все совпало с пугающей и неумолимой точностью. Прозвище «**Летающий Фокке**» – прямая фонетическая и смысловая связка с «Летучим Голландцем». Невыясненные обстоятельства исчезновения в Атлантике, возможно, как раз там, где лежал Назарский каньон. И самое главное – **1678 год**. Год его величайшего триумфа. Год, после которого, должно быть, и начался его спуск в ад. Тот самый рекорд, что породил слухи о сделке с дьяволом, стал, возможно, не началом, а кульминацией. Той самой точкой, где Бернард Фокке, стремящийся к своей Элизабет, отчаянно пытаясь установить рекорд, чтобы поскорее вернуться домой, свернул не туда и навлек на себя проклятие, навсегда отделившее его от того, ради кого он все это и затеял.

Мигель откинулся на спинку кресла, и старое дерево жалобно скрипнуло, словно разделяя тяжесть его открытия. Его ум, отточенный годами исследований, теперь работал с лихорадочной скоростью, складывая факты в единую, пугающую картину.

Фриз. Значит, не голландский аристократ из Гааги или Амстердама, а выносливый, упрямый, закаленный суровыми ветрами северянин. Человек, чья натура была столь же крепкой и аскетичной, как и его родные земли. Такие уж точно не сдаются так легко.

Флейт. Идеальное, стремительное, «пузатое» судно, созданное для максимальной эффективности и скорости. Корабль-трудяга, ставший орудием для достижения немислимых рекордов. Не грозный фрегат, а летящий по волнам флейт, чья скорость порождала суеверный ужас.

Рекорды. Дьявол. Общество XVII века, насквозь пропитанное верой в чудеса и демонов, просто не могло объяснить его успехи иначе. Слух о сделке с нечистой силой стал неизбежным спутником того, кто бросал вызов самой природе и стихии.

Пропал без вести. Официальная, сухая констатация, за которой скрывалась бездонная бездна. Не героическая гибель в бою с пиратами, не крушение в беспощадный шторм, а просто таинственное исчезновение в водах Атлантики. Там, где позже будут бороздить просторы легенды о корабле-призраке.

Все части головоломки сходились с пугающей и неумолимой точностью, образуя скелет истории Бернарда Фокке. Но один вопрос повисал в воздухе, жгучий и неразрешенный, связывающий прошлое с настоящим: как все это связано с Хендриком ван дер Деккеном? С тем исступленным, практически безумным существом, что вело дневник? С тем письмом к Элизабет, полным нежности и надежды? Был ли ван дер Деккен просто мифическим псевдонимом, что прилип к Фокке в легендах? Или это было нечто другое?.. Возможно, новое имя для новой, чудовищной сущности, в которую превратился несчастный капитан, потеряв все, что у него было?

Он снова схватил дневник, но в этот раз пальцы уже дрожали не от благоговения, а от лихорадочного нетерпения. Он грубо перелистывал страницы, пока не нашел самую первую, самую раннюю дату, с которой начинались резкие и рваные записи: **7 октября 1641 года**.

И тут его мозг, как раскаленный добела металл, ударило осознание слишком явной нестыковки. Рекорд Фокке был поставлен в 1678-м. Между этими датами пролегла пропасть в ощутимые **37 лет**.

Мысли понеслись вихрем, сталкиваясь и опровергая друг друга: «Что происходило в течение этих 37 лет? Фокке плавал, ставил рекорды, а Хендрик ван дер Деккен уже в 41-м году писал о «Вратах» и тумане? Нестыковка. Хронологический сбой. Или... А что, если это два разных человека? Две судьбы, два капитана, чьи трагедии и легенды столетиями сплетались в один узел в устах матросов? И происходило это до тех пор, пока не стали единым мифом о «Летучем Голландце»? Может, самое простое объяснение и является самым верным? «А

может, мы просто неправильно расшифровали инициалы? «Б. Ф.» – это не Бернард Фокке. Это кто-то совсем другой, чье имя начинается на «Б» и заканчивается на «Ф»? Бартоломью Флеминг? Бальтазар Фабрициус?»

Мигель внезапно почувствовал, как твердая почва фактов окончательно уходит из-под ног, превращаясь в зыбучий песок догадок. Голова закружилась, и комната поплыла. Каждый новый вопрос бил острее ножа, подрывая только что возведенное здание его теории и превращая его в песчаный замок во время прилива.

С трясущейся, но решительной рукой он схватил чистый лист бумаги и обмакнул перо в чернила. Это был его последний бастион – логика. Он начал записывать все, что смог узнать, выводя имена, даты и факты в две колонки:

Бернард Фокке
Хендрик ван дер Деккен (из дневника)

Капитан VOC
Капитан (корабль не указан)

1678 г. – рекорд скорости
1641 г. – первая запись о «Вратах»

Прозвище «Летучий Фокке»
Легенда о «Летучем Голландце»

Пропал без вести где-то в Атлантике
Столкнулся с туманом и аномалией у мыса Доброй Надежды

Он отчаянно искал хоть какую-то связь, нить Ариадны в этом проклятом лабиринте времен и мифов. Но пока что на бумаге проступала только одна пугающая правда: либо он имел дело с двумя разными людьми, либо времена и даты в этой истории были куда более обманчивыми, чем ему казалось.

В этот момент в дверь громко постучали, заставив Мигеля вздрогнуть и оторваться от своих записей. На пороге, опираясь о косяк, стоял Тьяго, запыхавшийся, будто пробежал не просто путь до дома бегом, а многочасовой марафон. В руках он держал большую и тяжелую книгу в потертом кожаном переплете, от которой исходил призрачный аромат: смесь засушенных цветов, океанской соли и вековой пыли.

Не теряя более ни секунды, они вновь уселись за стол, заваленный теперь уже не только книгами, но и бумагами. Тьяго едва ли не с религиозным благоговением открыл массивный фолиант. Страницы, пожелтевшие и хрупкие, с тихим шелестом перевернулись, остановившись на развороте, отмеченном высохшей и почерневшей от времени веточкой лаванды.

– Вот, – его голос звучал сдавленно от волнения. – Смотри.

Он указал пальцем на узкие поля страницы, рядом со сложной схемой парусного оснащения флейта. Наклонившись, Мигель почувствовал, как кровь внезапно застыла в его жилах.

Почерк был абсолютно идентичным. Те же рваные, нервные линии, тот же яростный, практически разрушительный нажим, врезавший формы букв в бумагу, словно это была не запись, а крик, застывший в материи. Но главное – это те самые инициалы «Б. Ф.», выведенные с той же уникальной манерой. А рядом – дата, которую пытались уничтожить с такой свирепой и отчаянной силой, что перо буквально прорвало бумагу, оставив после себя не просто кляксу, а настоящий шрам, зияющий на пожелтевшей странице. Но несколько цифр все же сумели уцелеть, проступив сквозь ярость забвения.

– 7 октября 1641 года, – прошептал Мигель, и слова повисли в воздухе не как дата, а как приговор, будто повернувшийся в замке вечности ключ. – Та же дата, что и в той странной записи в дневнике.

Тьяго молча кивнул, с мертвенно-бледным лицом. Больше не оставалось никаких сомнений. Это был один и тот же человек. Бернард Фокке и капитан, писавший дневник, являлись одним лицом. И тот день, 7 октября 1641 года, стал не просто странным, а буквально днем его метафизической гибели, днем, когда что-то сломалось навсегда, и он начал буквально вычеркивать себя из реальности.

– Значит, это все-таки не совпадение, – голос Мигеля потерял былую дрожь, став твердым, как скала. Теперь в нем зазвучала холодная сталь исследователя, наконец-то напавшего на верный след после долгих блужданий в тумане домыслов. – Бернард Фокке и Хендрик ван дер Деккен... Это не два разных человека. А один и тот же человек. Он просто сменил имя. Или... – Мигель сделал паузу, и в его глазах мелькнула тень чего-то более древнего и жуткого, – ...или «Хендрик ван дер Деккен» – это вовсе не имя. Это диагноз. Титул, полученный им в том проклятом тумане. Прозвище, данное той силой, что его поглотила.

Мигель откинулся в кресле, уставившись в пространство остекленевшим и пронзительным взглядом, словно пытался пронзить саму ткань времени, чтобы воочию увидеть разворачивающуюся трагедию. Он чувствовал тяжесть открытия, давящую на плечи. Они стояли на пороге, за которым лежала не просто разгадка исторической загадки, а нечто большее: понимание метафизической катастрофы, переворачивающей саму суть легенды.

Но главный вопрос продолжал висеть в воздухе. Жгучий и безответный, подобно призраку в тумане: какая же именно трагедия заставила человека стереть себя из одной жизни и создать другую, обреченную на вечное странствие?

Что такого могло случиться в тот день, 7 октября 1641 года? Была ли это встреча со стариком в Гоа? Или нечто более приземленное и оттого еще более страшное – известие о смерти Элизабет? Получил ли он письмо, которое разбило его мир, и он, не в силах смириться, в ярости и отчаянии уничтожил свое прошлое, став «Хендриком ван дер Деккеном»: человеком без имени, без любви и будущего? Или же сама его одержимость скоростью и открытиями привела к порогу, за который нельзя было заглядывать, и «Хендрик ван дер Деккен» стал той ценой, что он заплатил за это знание?

Они нашли имя. Настоящее имя. Но тайна лишь углубилась, превратившись из охоты за призраком в попытку понять истинную природу самого проклятия.

– Нам нужна не просто информация, Тьяго, – сказал Мигель. Голос звучал низко и вибрирующе, будто гул натянутой до предела струны. Он поднял на компаньона горящий взгляд, в котором смешались азарт историка и практически мистическая одержимость. – Нам нужна его душа. Мы должны пройти по тому же пути. Узнать, что случилось с Элизабет. Что разбило его мир настолько, что он решил вычеркнуть себя из него. И что именно произошло 7 октября 1641 года. – Мигель ударил кулаком по столу, отчего вздрогнули чашки. – Это не просто дата в судовом журнале и запись о странной встрече. Это начало конца Бернарда Фокке и рождение призрака.

Тьяго молча смотрел на него. Поначалу в его глазах читалась лишь усталость, но затем, медленно, словно восход после долгой ночи, в них вспыхнул ответный огонь. Но не такой же безумный, как у Мигеля, а твердый, будто гранит. Это была решимость человека, что прошел через ад и теперь напрочь отказывался отступать.

– Я помогу, – его слова прозвучали не как клятва, а как чистая констатация факта. Просто и без пафоса. – Мы докапаемся до истины. Какой бы горькой и уродливой она ни оказалась.

В этот самый миг между ними возникло новое, молчаливое понимание. Они оба полностью отдавали себе отчет в том, что путь, который им предстоит, – не просто какая-то кропотливая работа в пыльных архивах Лиссабона и Амстердама. Он станет настоящим путешествием

в самое сердце тьмы, к истокам проклятия, которое было рождено не в бушующем океане, а в глубинах обычного человеческого сердца, разорванного между любовью и безумием, между домом и бездной.

И теперь они были готовы. Готовы заплатить любую цену, чтобы услышать хотя бы слабое эхо той давней трагедии, отголоски которой преследовали их всю жизнь: одного в виде навязчивого кошмара, другого в форме необъяснимого страха, передавшегося по наследству. Они стали следопытами, идущими по холодному следу страдания, которому не было конца.

Глава 13. Хронометраж проклятия

Кабинет Мигеля окончательно утратил черты какого-либо жилого пространства, буквально превратившись в командный центр, осажденный призраками прошлого. Воздух стал густым от запаха старой бумаги, пота и непрерывно завариваемого крепкого кофе. Поверхности столов, стульев и даже часть пола безжалостно утонули в хаотичных, но стремительно растущих стопках книг, развернутых до нужных страниц, морских карт с проложенными маршрутами и листов, испещренных нервными пометками, стрелками и вопросительными знаками. Две настольные лампы, работающие сутками напролет, отбрасывали рваные, движущиеся тени, превращая комнату в подобие театра марионеток, где главными актерами стали ожившие буквы и даты, танцующие в свете дрожащих лампочек.

Мигель и Тьяго, движимые единым, жгучим порывом, молниеносно разделили фронт работ. Мигель, используя весь свой академический вес и безжалостно запугивая по телефону старого Вашку Алмейда срочностью и намеками на величайшее открытие века, погрузился в бумажные архивы Нидерландов. Пальцы буквально летали по страницам книг и журналов, выуживая из небытия любые упоминания о Бернарде Фокке, его корабле, финансовых операциях и, самое главное, о женщине по имени Элизабет.

Тьяго же, не теряя более ни минуты, вернулся к себе, чтобы превратить тихий, пахнущий воспоминаниями дом своего деда в настоящую археологическую площадку. Он перебирал каждую книгу на полках, встряхивал старые фотоальбомы, заглядывал в коробки с безделушками, выискивая любую, даже самую крошечную зацепку: старую фотографию, письмо, записную книжку. Он искал любую зацепку, что могла бы пролить свет на то, почему Луиш Кардозу, переживший трагедию, хранил у себя книгу с таинственными пометками, сделанными рукой самого Бернарда Фокке. Тишина его дома теперь нарушалась не молитвой, а звуком ящиков, открывающихся в поисках ответа.

Дни слились в монотонную, изматывающую череду бессонных ночей, пропитанных запахом подгоревшего кофе и едким дымом от павших в битве за информацию нервов. Воздух в кабинете стал до ужаса спертым и тяжелым. Единственным источником жизни стало мерцание настольной лампы, что в темноте отбрасывала теплый отсвет на осунувшееся лицо Мигеля. Он рассылал десятки писем на трех языках, вел униженные, полные бюрократических уловок переговоры с голландскими архивариусами и в сотый, а то и в тысячный раз перечитывал одни и те же распечатанные оцифрованные бумаги, вглядываясь в каждую строчку, каждую пометку, будто алхимик, пытающийся извлечь золото из пустой породы.

И вот, глубокой темной ночью, когда силы уже были на исходе, в его почтовом ящике, будто капля воды, медленно просочившаяся сквозь толщу скалы, появился новый ответ. Письмо оказалось безликим, сухим и лаконичным, состоящим из голых, беспристрастных фактов, лишенных всякой поэзии и какого-либо человеческого сочувствия. Оно было похоже на официальную справку о смерти, выданную спустя долгих четыре столетия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.